
ЛЮДМИЛА
САДОВНИКОВА
МАТЬ-И-
МАЧЕХА
РОМАН
18+
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

Большая проза

Людмила Садовникова

Мать-и-мачеха

«Издательство АСТ»
2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Садовникова Л. К.

Мать-и-мачеха / Л. К. Садовникова — «Издательство АСТ», 2026 — (Большая проза)

ISBN 978-5-17-184843-9

Людмила Садовникова родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Филолог, исследовательница поэзии первых лет СССР, коллекционер-любитель, начинающий книговед. Дебютный роман Садовниковой основан на истории ее семьи, коренных уральцев. Время – 1920–60-е. Книгу можно назвать и романом-притчей об эпохе, и семейной сагой с элементами магического реализма, и психологическим романом.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-184843-9

© Садовникова Л. К., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Хоровод цветочка обыкновенного 6
История первая 9
История вторая 17
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Людмила Садовникова
Мать-и-мачеха

Посвящается родным гробам,
домашним пирогам
и той доле нежности,
которую каждый из нас
так и не смог потратить.

© Садовникова Л., 2026
© Собенина Л., 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

Хоровод цветочка обыкновенного

Вы, цветы ли мои, цветики,
Вы, цветы мои лазоревы,
Вас посеяно немножечко.

Вас посеяно немножечко, —
Уродилося дивнешенько,
У родимого у тятеньки.

Уродилося дивнешенько,
У родимого у тятеньки,
У родимой-то у маменьки.
Из уральской народной песни

Если вздохнуть всем народом —
ветер будет.

Советская пословица

«Мать-и-мачеха – это гвоздика для бедных», – говорила бабка Дарья, вторая жена Веркиного деда, зачем-то при этом кокетливо пощипывая край темной старушечьей юбки в мелкий блеклый горошек, важно покачивая головой и голосом. Первая его жена, лучшая висимоуткинская швея, повесилась. Чуть ли не на следующий день после ее смерти привел дед в дом полюбовницу, эту вот Дарью, поставил перед ней только что осиротевших четверых детей: «Вот вам новая мать!»

В деревне поговаривали, что с полюбовницей он познакомился, еще когда она пришла к той самой первой жене за новым платьем. Пошитым платьем осталась Дарья довольна. Как, впрочем, и мужем швейки, Иваном Уткиным, красивым, крепким мужиком. Поговаривали, что и повесилась Веркина бабушка как раз из-за разлучницы, не в силах вынести не столько измену, сколько зуботычины охладевшего к ней мужа. Иногда поговаривали даже, что не сама повесилась бедная баба, а муж удавил опостылевшую вожжами в сарайке. Сама ли повесилась Веркина бабушка, заставили ее согрешить смертным грехом или убили – в любом случае было неважно. Все равно свою родную бабушку Верка ни разу в жизни не видела, называя бабкой старую Дарью. Та же, настоящая бабушка, родная, но совсем незнакомая, умерла настолько задолго до рождения внучки, что даже имя первой жены Ивана Уткина стерло время, и через сто лет в семье помнилось только имя второй, никому не родной по крови.

Дарье, бабе бездетной, на момент удачного, а главное, первого (и единственного) брака исполнилось уже пятьдесят. Пока не состарилась, работала горничной у местных, по большей части у одиноких мужчин-господ, что «поважнее», работала даже в семьях «в городе», то есть в Нижнем Тагиле, угождая хозяевам, то есть опять же мужчинам. Но об этом изредка вспоминали лишь злоязычные соседки и никогда не вспоминали в Веркиной семье.

Разве что по выходным и праздникам, уже гораздо после смерти своего старика, выпив с Матреной самогона больше, чем обычно, бабка Дарья, отсырев, рассиропившись, открывала стоявший рядом с ее постелью сундук и начинала хвастаться, доставая из него, одну за другой, слежавшиеся за сорок-пятьдесят лет, пахнущие нафталином, но до сих пор крепкие и интересные вещи: «А вот эту горжетку мне Степан Лександрыч подарил, видный был мущщина, хоть и в годах. А вот этот отрез – Иван Васильич, любил он, помню, в чай завсегда рюмочку ерофеича, хи-хи, добавить. Меня заставит сесть с ним за стол чаек погонять, ну и мне настоечки в чашку.

Двойную порцию. Не жадный был. То ткани на платье даст, то шаль, а в день ангела и сахарную голову выдаст. Ты, Даренка, говорит, сама вся как сахар. И за щечку ущипнет. А вот это… – Дарья вытаскивала откуда-то снизу, из-под тряпок, из-под когда-то модных ботильонов с перламутровыми пуговками, завернутых в отдельную холстину, из-под жестянок с чайной заваркой и с леденцами – при стуке их Верка сглатывала мгновенно набегавшую слюну, – шкатулку купоросного стекла и торжественно выуживала из нее тяжелые малахитовые бусы и колечко, сверкавшее ярким аметистовым камушком. – А вот этим меня сам Пантелеймон Петрович одарил! Ты, говорит, Дашка, еще дороже стоишь! Целуй, говорит, ручку в благодарность!»

Пьяная бабка раскладывала на коленях отрез ярко-красного, вырвиглаз, шелка, потемневшего, впрочем, от пыли по сгибам, пристраивала на сморщенной шее богатые бусы, перекидывала через плечо богатую песцовую горжетку, с трудом надевала на кривоватый, сморщенный, как у мумии, палец колечко с аметистом. Матрена протягивала было руку – погладить темную полоску на меховой спинке, но Дарья отталкивала ее жирные от селедки, воняющие луком пальцы: «Убери, я тебе говорю! Не твое – не лезь». Та покорно наливала бабке полный стакан, сама же продолжала жадно общупывать взглядом каждый малахитовый шарик, каждый серебристый песцовый волосок…

«Может быть, бабке Дарье там, в горничных, кто-то и гвоздику подарил?» – думала каждый раз, срывая очередной желтый цветок, Верка, которая, впрочем, ни разу в жизни этой загадочной гвоздики не видела.

Мать-и-мачеха Верке нравилась: и своим горьковатым маленьким цветочком, и кургузым, маленьким же, как Веркина жизнь, стебельком. И сама Верка была рыжей и конопатой, чисто желтый цветик упрямый. И почему в деревенской прозе дети всегда рыжие и конопатые? В крайнем случае белобрысые и обязательно со щербинкой между передними зубами. Смех смехом, но Верка действительно собрала все самое яркое от классической героини деревенской прозы: и щербинку, и рыжину.

Это потом каждый мог заметить даже на черно-белых фотографиях ее молодости. Детских снимков не сохранилось, то есть их совсем не случилось, а вот на «девичьей», то ли сорок шестого года, то ли сорок восьмого (где Верка сидит с деревенской подругой в деревенской траве, возможно, даже с пучком деревенских ромашек сбоку), нельзя не разглядеть, что Веркины лицо и руки – все в конопушках, а волосы слегка вьются – по-особенному, как они вьются часто у рыжих и рыжеватых, непонятно даже, как точнее сказать, просто… ну, просто вьются, как у рыжих.

Рыжина вышла наследственной, хотя время потихоньку вымывало ее из кожи и волос потомков, как золото из руды: волосы Нади, Веркиной дочери, были уже просто русыми, хоть и переливались золотисто на солнце, будто свет, попавший в летнюю бегучую воду. Зато все плечи и спина остались испещрены веснушками, как неудачное яблочко – коричневыми пятнышками. У Любочки, Веркиной внучки, волосы оказались уже обычного, как у многих коренных местных, незаметного мышиного цвета, веснушки же появлялись только летом и на носу. Правда, после сорока начали обнаруживаться понемногу и на груди, и на спине, и на руках, и, глядя в зеркало, по ним Любочка узнавала в себе бабушкину внучку.

…Летом две тысячи двадцать первого, в очередной раз наслушавшись материнских историй (Верка – она же баба Вера – к тому времени уже умерла), Люба добралась-таки до Висимо-Уткинска – просто посмотреть.

Увидела и реку с диковатым названием Межевая Утка, и почти фанерные, игрушечные, наивные, отражающие сами себя в реке облака, и лес, стоящий вокруг деревни классической, той самой – темной! – стеной, и, среди новых и скучных, дома пожитые, с резными, несколько покосившимися воротами, кое-где настолько старыми, почерневшими, что они, как и любая дряхлость вещей, вызывали одновременно и восторг, и легкое животное отвращение; увидела

это все – и совершенно не узнала, хотя и ощутила что-то нутряное – *родовое?* – в животе, в груди, в горле, не столько чувство, сколько почти физическое ощущение: не она сама здесь побывала когда-то, а:

забытая в чьей-то машине ее куртка, проехавшая через Висимо-Утку;

ее кот, до встречи с Любочкой гулявший сам по себе – возможно, что и по здешним огородам;

не дочитанная ею книга, оставленная в маршрутке и найденная кем-то, оказавшимся потом, конечно, именно здесь, на соседней улице, —

то есть все то, что Любой назвать никак нельзя, но что непостижимым образом навсегда останется ее частью.

История первая
Двадцатые

Если б я была голубка,
Если б я была сизая,
Эх, да сизая.

Легки крылышки бы имела,
Крылышки бы имела, да,
Эх, да имела.

Я бы к Ленину полетела,
К Ленину полетела бы,
Полетела бы.

Все ему бы рассказала,
Рассказала про горюшко,
Рассказала бы.

Из уральской народной песни

Нет земли краше, чем Родина наша.
Советская пословица

Матрена печь пироги не любила. Ставить тесто и ждать, пока дойдет. Ждать Матрена тоже не любила. И вдвойне не любила, что ожиданием работа не заканчивалась. Одно покроши, второе покроши, третье потри, первое потуши, перемешай со вторым, мороки-то сколько! Потом раскатывай тесто, как будто больше тебе в жизни заняться нечем. И непонятно, как раскатать так, чтоб вышло, как мама учила: тонкое, но не рвется; пышное, но, не дай бог, не толстое; мукой стол посыпать, но не настолько густо, как снега за окном в январе бывает. Морока же, морока. Начинку разложи, да и не много, и не мало, и про лук не забудь, и не пересоли, и не недосоли, и умасли начинку – чтобы среди капусты сияли и быстро исчезали масляные растекающиеся звездочки, и сметаной сдобри, если есть, – для сочности и запаха. Потом защипать. Правильный пирог – размером с противень, и не тот, где нижний слой текста с начинкой закрывается верхней тестяной крышкой, а тот, где тесто изначально раскатала повариха так, что одного тестяного полотна хватит на все: боковинами закрываешь верх, защипываешь пирог посередине, чтобы все видели – так раскатано, что и тонко, и не рвется, ох уж это опять «не рвется».

Ставишь в печь. И опять следи, точнее, и следи, и другие дела успевай поделывать. Не пересуши, но и сырым внутри из печи не вытащи, не сожги, однако и помни, что белые края, не говоря уж про испóд пирога, выходят только у плохой хозяйки. Сами знаете: *без горячего пирожка не будет у девки милого дружка, у бабы и мужика не будет, кто ж тебя, ленивую, полюбит?* Хотя, может, вовсе и не о пирогах так говорят. В общем, если не уследишь за печевом, от матери пару ласковых получишь (хоть и не злой была Матренина мать, однако сильно не любила, когда еда впустую уходит), и сестры – пискли, от горшка два вершка, а все туда же! – смеяться будут. И ведь получала Матрена от матери не раз – и леща, и по щечке нерумяной. А все равно не могла сделать так, как должно, как ни старалась.

После она долго злилась: все вот могла, но не эти клятые пироги. Летним вечером выходила на улицу, садилась у дома и разглядывала, злясь, закатные облака: они отражались в ее глазах, как пирожки – поджаристые ровнехонькие, пухлобокие. И Матрена злилась еще больше.

Зато мать ее, Сонька Углова, своими пирогами славилась по всей Висимо-Утке. Муж посмеивался, что только за пироги ее замуж и взял. Тесто у Соньки поднималось, как ни у кого, корочка выпекалась румяная, будто то ли рассвет, то ли закат – в общем, красиво, а уж вкусные какие выходили! С трех уж до отпуза сыт, а все равно рука сама в рот еще один тянет.

Братьев у Соньки имелось два. Младшенькие. Погодки, два колоска с одного поля – Сонька их сильно старше была. В семнадцатом году, когда у Соньки была уже своя семья, и немалая, только один из братьев оженатился, Семен. А Савелий еще холостым ходил. И вот девятнадцатый год разломил братьев надвое, как пирог, – Савелий ушел с красным отрядом, Семен – с белым.

Родину, – оба сказали, – *надо защитить! Народ*, – оба сказали, – *изнемогает! Только за мною правда!* – оба сказали. И ушли. И пропали. Лишь раз или два слыхали домашние, что Савелия белые ищут – больно лютый он до них. Раз лютый и ищут, значит, жив! *Славатегосподи!* Семенова жена родила мальчика, продолжала жить с мужниными родителями.

Год, что ли, прошел. То одна в деревню захаживала армия-банда, то другая. Местные иногда и сами не понимали, кто из наехавших кто, понимали только, что есть хотели и те, и другие. Убить могли и те, и другие. Так однажды пришли и белые – прямо к родителям Соньки: искали Савелия. Не нашли, ушли, оставили о себе памятку – две пули, по одной на каждую родительскую голову. Так Сонька сиротой стала. Хорошо хоть, своя семья у нее уже была. Жене Семена Тоне и ребеночку их тогда сильно свезло – точно бы пришибли, кто бы среди крови и криков разбираться стал, свойская перед ними жена, белая, или чужая, красная, народная? – уехала баба с дитем в соседнюю деревню родителей навестить – болела Тонина мать. Тем и спаслись. Вернулись, а до́ма пустые стены ждут: для двух гробов место есть и еще останется. Просторно. Хоть танцуй! Зажила Тоня одна в доме с сыном.

А потом случился голод. Большой голод. Муж Сонькин тогда умер первым – так странно ей показалось: самый сильный, а помер первым! Сначала чуть даже легче вышло, когда мужика не нужно стало кормить. Детям больше стало доставаться. Но и этого невидимого излишка надолго не хватило. После еще и двоих деток смерть из семьи повыбирала-повыщелкивала, как горошинки из стручка. А потом пришла весна двадцать второго: как пахать? Ладно, Матрена жила дома: замуж никто не брал, а ведь уж двадцать семь должно было в этом году исполниться. Лицо оспой побито, характер – будто тоже потраченный чем. Пусть лишний рот, и работала с какой-то почти ненавистью, однако работала в поле не хуже мужика. И съестного на нее уходило гораздо меньше, чем на мужской пол.

Самый сытный кусок Сонька отдавала Петеньке, младшему сыну, самому любимому, самому позднему, хотя толка от него было меньше, чем от любого другого ее ребенка. Но чем больше он ел, тем больше слабел. Громче всех ныл, остальные молчали, а этот: «Мама, хлеба», «Мама, есть хочу», вечное это «мама, мама», которое тем больнее, чем меньше можешь дать; *собой бы накормила, но нечем*, те же у Соньки, что и у детей, тощие кости, обмотанные кожей и жилами, тот же пустой черный рот, из мяса только язык и остался: колыбельную шелестеть, бога молить – уже не о долгой жизни, а о быстрой смерти.

Однажды Софья встала ночью, пока дети спали, пока голодные тени густо собирались в их глазницах, вокруг западающих детских ртов, как будто дети уже умерли, хотя и бормотали что-то во сне, двигали худыми руками. Встала и долго сидела рядом с Петенькой, спавшим с ней на лавке: грудное молоко у Софьи иссякло, зато тепло тощего тела могло еще греть. Вот и спала вместе с ним, обнимая, если плакал, утешая шепотом не столько его, сколько себя. Сидела час или два: лунный свет выбелил тени, вычернил мальчиковы ресницы – ангел, да и

только, если бы не запавшие щеки и губы, будто всасывавшие невидимое, ненастоящее молоко. Спал, дышал тихо-тихо, без вечного своего тревожного «мама». Софья взяла свою подушку – тощую, заплатанную. Наклонилась над сыньим личиком, занесла подушку. Петенька! Занесла подушку, значит, повыше и… положила обратно. Снова легла рядом, обняла легкие невесомые косточки, похожие на птичьи, стала греть, слушать детские часики Петенькиного дыхания: вдох-выдох, вдох-выдох, тик-так. Заснула.

На следующий день Сонька отправила остальных из дома в лес: «Хоть что-то съедобное, а найдите. Или не возвращайтесь! А я стирать на реку пойду». Матрена дернулась было: «Вот еще, не хочу с писклявыми! Они и без меня обойдутся». Год от года, своей детской оравы не нажив, Матрена все больше не любила родственную: сгонять всех в стадо, утирать сопливые носы, слушать детский визг, всегда визг; даже если говорили шепотом – все равно выходил у мелочи один сплошной визг! Но мать цыкнула на нее, замахнулась, чего отродясь с тихой Сонькой не случалось: «Делай, как сказала!» Матрена надулась и побрела с сестринско-братним выводком, пошатываясь, как и остальные, с голоду, но побрела: за черемшой, за сосновыми почками, за травой, дай бог, найдут еще чего; так или иначе, не с пустыми руками прибредут обратно.

Сонька проводила всех. Посмотрела, как уходят: становятся все меньше и меньше, превращаются в спотыкающихся мушек на стекле горизонта. Зашла в дом и заперла двери, чего давно уже не делала. Петенька полулежал-полусидел на кровати, пытался улыбаться и жить. Сонька поставила в печь закипать чугунок с водой. И рядом еще малый глиняный горшочек с водой. Открыла огромный сундук – еще из приданого! – и быстро, задохнувшись, перестав дышать, будто кинулась в холодную воду, вытащила какой-то мешочек. Достала травку. Заварила, как дошла водица в малом горшочке. Налила в стакан настоечку, стала мешать ложечкой, стуча ею по краям, будто постукивая зубами на морозе. Вынула ложечку из стакана, аккуратно положила рядом. Долго еще дула на воду, охлаждая. Села рядом с Петечкой, приподняла голову и напоила его, как ни похныкивал, ни отворачивал голову – *горько*! Теплый травяной дух заставил порозоветь детские ноздри и щеки. Сонька гладила сына по голове, выпевала слабеньким, пересохшим от недоеда голосочком:

Котик черненькёй,
Котик тепленькёй.
А у Петеньки
Лобик беленькёй.
Хвостик черненькёй,
Хвостик тепленькёй,
Спят с дитем вдвоем,
Оба маленькёе.
Ты мой Петенька,
Ты мой беленькёй,
Закрывай глаза —
Звёзды серенькёе.

Сонька ждала недолго. Петечка заснул, еще когда она начала петь про хвостики. Сон его казался тихим, не то что ночью, когда часики стучали громко, а сердце Соньки повторяло каждый стук. Хорошо, что спит и не проснется долго. Сонька, как и ночью, взяла в руки подушку, все ту же – заплатанную, тощую, как ее грудь. А потом положила Петеньке на лицо. Петенька спал крепко.

Ничего не изменилось.

Просто часики перестали тикать: *тик-так, тик-так, так-так, тик…*

И все.

Может, еще что было, но: *не было этого ничего*, сказала сама себе Сонька. *Показалось!*

Сняла подушку с Петенькиного лица.

Забытый в печи чугунок с водой продолжал кипеть.

Достала из-под подушки чистую тряпку – двойную занавеску из приданого, расшитую подсолнухами, кружевом отороченную; пожелтела занавеска от долгого лежания в сундуке: так и не случилось радости, чтобы вытащить на свет, чтобы повесить к празднику, полюбоваться. Кинула на скамью рядом с сыном. Сложила Петеньке руки на груди. Перекрестила. Вышла в сени, вытащила из-за дверей давно припрятанную лопату.

Копала в примеченном заранее углу огорода с брошенным там сломанным колесом и какими-то гниющими ящиками. Копала яму быстро: не дай бог, увидит кто. Тогда все пропало! Земля поддавалась не так легко, как хотелось, Сонька давно обессилела. Но продолжала копать. Докопала.

Вернулась в дом. Взяла Петеньку, маленького, легкого, на руки. Голова его свесилась вниз, ноги обвисли, как мокрая трава. Но об этом нельзя было думать. Подхватила занавеску. Вынесла его в сени. Положила на пол. Достала из того же угла топор. Повесила – пока что – занавеску на гвоздь, торчащий из стены.

И рубанула по шее. *Реснички темные длинные, лобик с прилипшей прядкой, губы милые: «Мама!»* Затем отсекла ноги и руки. Подумала вдруг: хорошо, что маленький, взрослого она могла бы и не осилить, времени и сил больше на него понадобилось бы. К горлу подкатила тошнота: от голода, не от отвращения. И кровь почему-то не пугала. Сонька посмотрела вниз на кожистые плеточки рук-ног, заканчивавшиеся странно, *как будто человечьи,* маленькими ладошками и детскими бледными ступнями, замазанными красным, и вроде что-то забрезжило глубоко внутри: *маленькие пальчики, совсем маленькие, целовала их, было же когда-то времечко, тик-так*. Думать об этом было нельзя, некогда, незачем. Сонька поняла: вот пальчики – не сможет видеть! Никому не сможет их отдать. Хотя и это была еда, была жизнь. А вот не сможет, и все тут. И отняла от плеточек-ручек-ножек пальчики со ступней и кистей рук, стараясь работать топором так, чтобы – только почти пальчики срубить с тела, только их, чтобы осталось-таки побольше мяса детям. *Еда, Господи, это еда, что же ты делаешь, Господи.*

Положила голову, пальчики на одну половину кружевной занавески – вот она, случилась-таки радость, только любоваться никак. Завернула. Белое кружево тут же начало алеть, чернеть, тяжелеть. Но нельзя было об этом думать. Вытащила во двор. Положила в яму, забросала землей, возвернула на место глыбья с травой и корнями, прикатила и бросила сверху колесо, поставила обратно ящики. Так и было. Как все и было. То есть: *а ничего и не было.*

Вернулась в дом. Она никогда так и не смогла вспомнить все, что делала, как никогда и не смогла понять, откуда взяла на это силы. Но смутно помнила, как быстро мыла пол, как раздирала безжалостно вторую половину занавески «на тряпки», помнила, как бросила часть мяса в кипяток – на несколько минут, чтобы обварилось. Еще часть обложила листьями крапивы и завернула в мокрый обрывок занавески. Положила в горшок, плотно закрыла крышкой. Вытащила недоварок, засунула его в другой горшок. Открыла в голбце ход в погреб. Из него потянуло холодом и сырой землей. Залезла. Погреб давно пустовал, забитый всяким хламом: горшки, корзины, другие вместилища для еды – без еды. Вот только в одном месте, под нижней полкой, доску можно было убрать – Сонькин муж, бывало, прятал там разное. Сонька потянула на себя доску – на лбу ее вздулась синяя жилка. Поставила горшки с мясом в потайное место. Вернула доску на место. Завалила подход к доске старьем. Вытерла пот со лба – холодный.

Дом Соньки стоял на краю деревни. Хорошо. Сонька скрутила из грязной одежды куль, взяла-обняла. Похоже, что ребенка тащит. А то вдруг кто увидит. А увидеть каждый может. Накидала в бадейку еще тряпок. Выглянула в окно. Уф. Перекрестилась. В одну руку: куль-ребенок, во вторую – бадейку. И – пока никого не видно, а если и видно, то далеко – пошла

быстро, настолько быстро, насколько позволяла усталость от голода, застилавшего зрение, привешивавшего пудовые гири к ногам, до Межевой Утки, вниз, через горку, через сосны, *если потом спросят: «Зачем так далеко?» – скажу, что хотела Петеньку к речке, под сосенки сносить подышать. Для здоровья. Лишь бы никого не встретить.*

Не встретила. Повезло. Спустилась вниз. Устроилась у воды. Раскинула-развернула старую детскую одеялку – будто бы для ребенка. Прислушалась: тихо везде. Пусть и дальше тихо. И главное: не кричал никто «мама, мама!», не просил есть, не ныл. Замочила постирушку. И откуда брались силы? Их ведь давно не осталось. Сонька терла тряпки, мочила, снова терла, терзала, останавливалась, отдыхивалась, отдыхивалась, в груди что-то сжималось – до рези. И она снова терла и полоскала. *Ах, вода ледяная, сердечко холодное.*

И наконец отжала последнее, встряхнула, положила в бадейку. Вода плескалась о камешки, золотые искорки бежали по ней. Солнце казалось веселым желтым цветочком, вот только черная точка была внутри него – будто подсолнушек, – в глаз, что ли, что-то попало? Что за черная точка? Однако на слове «подсолнушек» Соньку застолбило: представила вдруг его себе: как выщелкивает из серединки одну семечку за другой, глотает одно за другим молочные зернышки, похожие на детские молочные зубки. *Ах, как Петенька улыбался*. Сонька вздохнула, легла на старую одеялку – осторожно, будто стараясь не придавить кого-то невидимого, легла боком, поджала ноги, обняла видимую пеленочку с невидимым ребенком – тс-с-с, спи, все хорошо. И сама заснула. Будто не было ничего. *Не было ничего, понимаете?*

К вечеру раздался в деревне бабий вой: шла Сонька от реки, шла покачиваясь. Черная голодная дыра рта с каждым ее шагом, казалось, все растягивалась. Кричала – с голодухи, что ли, совсем разум помутился? – почему-то смешное: «Мама, мама!» Кричала не останавливаясь. «Мамамо-о-очка…» Один бок юбки и кофты – в сосновых иголках, в земляных комышках. Ноги и юбка мокрые, в руках бадейка, с нее вниз грязная детская лоскутная одеялка свешивается. Капает с нее на дорогу: кап. Кап-кап-кап. Будто дорогу помечает водица речная.

То ли река уволокла Петеньку, рыбы объели, то ли лес пожрал, то ли злые люди забрали – цыганы! – *пока спала Сонька и ничего не видела, дура такая!* – никто так и не узнал. Пропало дите – и все! Поглядывали, конечно, перешептывались, так ли все, как говорит баба, но… Никто ничего не видел. Да и кому было видеть? Соседи недоедающие, как и Сонька, чисто былинки иссохшие, от малого самого ветра покачиваются. Заглянули к Угловым и из города, из органов (но это уже сильно позже случилось), и ничего не нашли. Огород с кривоватыми грядками в зеленых проплешинах по углам завален гниющими палками, ящиками старыми, колесом сломанным – сразу видно, нет мужика в хозяйстве; трава июньская в чугунке варится-квасится; тетка, похожая на тень сломанного дерева; мелкота – синюшная, с запавшими глазами, с выпершими острыми скулами – с голодухи выперли-то, только кожу еще не пропороли насквозь; молчаливая злая рябая девка, принесшая с колодца два ведра воды, капли от них на полу, похожие на детские невидимые следочки, – вот и все. Не было ничего. И *слава богу, слава богу*, шептала ночами Сонька: нашли бы что, арестовали ее, куда детям одним? Кому они нужны, кроме нее?

Дня через два, когда перестали навещать сердобольные соседки – *ну а чиво, у всех свои дела, свои заботы, сами едва на ногах стоим от недоеда-то, а тут – ртом в доме меньше, так бабе легче,* – Сонька поставила на стол чугунок с супом. Наваристым. С крапивой, с лопухами, с мясом. Поставила, молча налила в общую миску. Младшие, несмотря на голод, ели, как полагается, в очередь, давились от жадности, ели, снова ели, опять ели. И только Матрена нахмурилась на миску, затем на Соньку. Вздрогнула: «Мама?» Тихая, безголосая почти всегда Сонька неожиданно оскалила зубы: «Жри что дают!» И сама зачерпнула варево. Мать – главная сейчас в семье, ей без куска нельзя оставаться! Матрена отвела глаза. Сонька проглотила ложку, другую, вышелестела бесцветно, что-то невидимое рассматривая в углу: «Собака

приблудилась. Чужая, ничейная. Молчите. А то отберут. Соседи-то нынче – сами знаете. Кто слово скажет – запорю до смерти. Поняли меня?»

После ужина Сонька сама убрала остатки варева в подпол. Закрыла крышку, наступила на нее ногой, точно вдавила камушек в землю. Матрене, стоявшей к ней спиной и протиравшей стол, послышался незнакомый шепот, от которого у Матрены зашевелились волосы на голове: *тик-так, тик-так*. Дочь обернулась. Но ничего. Показалось. Сонька сошла с крышки погреба, скрипнула дверью голбца, прошла мимо Матрены, точно и не заметив дочери.

С того времени тихая Сонька совсем обезголосела. Ходила невидимо. Жила, словно ненужная вещица за пыльным стеклом, как-то наособицу, как-то поодаль от всех, даже от детей. Затрещину маленьким давала – и то молча. Больше из детей никто не помер. Сонька никак не могла понять, за что ей такая милость, почему отступилась от них смерть. Ведь вон у Захаровых двоих от голода недосчитались, а у Сидоровых троих, у Кононовых же – не с соседней улицы, а у тех, которые с другой стороны пруда, – так и вообще, почитай, вся семья полегла. А ее детям – ничего. Чисто заговоренные. Ни одна простуда их не брала, ни одна зараза. Как так вышло? А ведь мяса-то в Петеньке было всего ничего, на юшку, да еще одну, да еще косточки обглодать.[1]

Тонька, жена Семена, тоже тогда выжила, а вот сын – нет. Осталась Тонька бобылихой одна в большом доме. Не привела обратно Семена река-дорога: то ли помер мужик, то ли как знать. И о Савелии ничего не было слышно.

А потом Савелий вернулся. Сонька тогда только пришла с реки со стираным бельем: развесить надо, то-се. Как ни странно, ходила на реку как ни в чем не бывало – даже легче ей там становилось, на берегу-то. Не зря, видать, говорят, вода боль уносит. Вернулась вот, значит, только, стала белье во дворе вешать – кап-кап наземь, то ли вода, то ли слезы, – а к ней летит дочка родителевой соседки: «Ой, теть Сонь, там Савелий! Иконы рубит!»

Сонька бросила мокрое белье прямо на землю и побежала.

Савелий стоял во дворе родительского дома, крепко стоял, нарасшарагу: уж до́ма так до́ма. «Йе-е-ех!» – топор опускался вниз раз за разом, летели в разные стороны закопченные щепки. Крошились крошечные темные святые лица, сминались, вдавливались и ломались ангельские личики и райские цветики на серебряных окладах. В нескольких шагах от Савелия валялось в пыли окровавленное женское тело. «Тоня!» – охнула Сонька. «Йе-е-ех!» – раздался снова надсадный звук, и несколько щепок ткнулись острыми рожками в Тонькину грязную юбку.

Сонька не помня себя молча подлетела к Савелию, схватила его за руку, вновь начавшую поднимать топор. Брат только двинул плечом – Сонька отлетела назад. Упала. Савелий поднял топор повыше, обернулся: «Йе-е-ех!»

Сонька зажмурилась и всхлипнула.

Давно пора, Господи! Давно жду!

Но наступила тишина.

Сонька приоткрыла один глаз. Савелий смотрел на нее сверху, свернув голову набок, точно птица из древесной, плескучей от ветра листвы: «Сонька, ты, чо ли?»

«Вставай, Сонька, не трону». Сонька встала. Что еще было ей делать? Встала, снова ее взгляд наткнулся на Тонькино тело, кровь, пропитывающую землю – насквозь: не выцарапать ее больше, не выскрести, не выжрать пастью адовой. Сонька дернулась было к невестке, но Савелий ее перехватил: «Ништо́! Топором бы ей по башке, суке белой, да уж ладно. Жаль, конечно, что выблядок Сенькин сдох, я бы его сам в расход пустил. Чтобы за маменьку. За папеньку. Взял бы на себя грех!» И – привычно, как в детстве, осенил себя крестом. Правда, уперевшись щепотью в правое плечо, понял наконец, что крестится, плюнул, разлепил пот-

[1] Юшка – бульон. (*Здесь и далее примечания автора.*)

ные, окровавленные пальцы, потряс ладонью в воздухе, будто стряхивая что-то липкое, обтер ладонь об штаны. *Да, за маменьку ненаглядную. За папеньку родимого. Чтобы семени этого Сенькиного, змеиного, не осталось. А ты, Сонька, сестра. Ты, Сонька, живи. Надо так.*

Сонька всхлипнула снова. Савелий отпустил ее. Кинул взгляд на то, что еще недавно было женщиной, ажно всего его передернуло: «Су-у-ука». А потом: «Пора мне, не место мне здесь», – и все, пропал. Кажется, и не приходил вовсе. Вот только кровь и щепки смешивались под ногами в кашу, спекались, высыхали, как яблочная пастила. Сонька, мелко дрожа, зачем-то взяла топор. И так, с топором, оттягивавшим запястье, руку, сердце, но почему-то сильно успокаивавшим, пошла к недвижимой Тоньке. Тонька – *слава те, Господи!* – дышала. Кровищи вот только много. *За что, Господи, за что?* Так, продолжая в правой руке держать топор (то ли держаться за него), словно тот придавал ей сил, освещал все вокруг, как горящий факел в ночи, Сонька левой прихватила Тонькино тело и поволокла в дом, ступенька за ступенькой, оставляя кровавую полосу, стук о порог, стук о второй порог. И головой «стук», и ногами. Туки-тук и снова тук. Сонька молчала. Что тут скажешь?

Кое-как, по шажочку, дотащила невестку до кровати, стоявшей пусто и празднично после смерти мужниных родителей, спавших на ней последние годы, после смерти сына, потемневшего, высохшего на этой постели, как сухая ветка, – мощи в белом холстике. Тонька на ней спать не смогла, однако кровать – вещь нужная, важная, как в доме без парадного ложа – *вдруг гости или мало ли еще что?* – поэтому выбросить не решилась. Так и стояла эта кровать – без дела и без места, – похожая на пышную свежую булку со взбитыми сливками (видела Сонька однажды в детстве такую сдобную-красивую в городе, за витриной, куколка – не булка): подушки пышные, накидушки накрахмалены, кружево по краю аж стоит-гремит, точь-в-точь крыло гусиное, подзор красными цветами крестиком вышит, еще от матери Тонькиной свекрови, Сонькиной то есть бабки, остался – красота земная!

У постели наконец ослабли у Соньки руки – упал топор лезвием вниз и вскользь, отскочила от пола еще щепочка. Тонька полупустым мешком картошки повалилась на эти новые щербинки, темные пятна расползлись по древесным выемкам, впитывая кровь. *И откуда в ей, махонькой да тощей, стока кровищи?* Сонька взяла Тоньку под мышки, выдохнула резко и подняла-вздернула этот тяжелый, безвольный, сочащийся жидкостями кожаный мешок – не человек, а взрезанный выгнивший плод, комок сырой грязи, – с сиплым гэканьем взвалила его на хрустящие накидушки, на лоскутное веселое одеяло. Накидушки тут же начали размякать, как хлебные корочки, опущенные в воду: *был сухарь – стала каша. Что ни есть – все наше!* По красным цветам подзора тоже мазнуло кровью – быстро высохнет, заскорузнет, закоричневеет, стянет в грязные узлы алые цветочки, вязаные солнышки кружевной каймы.

Тонька захрипела, дернулась, тонкая красная струйка полилась изо рта, из самого краешка.

Сонька стирала кровь, снимала с Тоньки одежду, слоями, как шелуху с алой луковки. Тряпки грязной грудой дурно пахли на полу, серенький был сегодня день, вязкий, зыбкий, свет неверный, ускользающий, не падал на пол, а мерещился – как речная заводь в сумерках. Кровать казалась лодкой, Сонька плыла сквозь мерещащийся свет, хваталась за край кровати, за Тонькину руку, Тонька же уплывала, оставляя невестку одну в этой темной воде жизни. Но Сонька цеплялась и цеплялась за край лодки.

Тонечка, Тонечка, зачем тебе жить? Тонечка, Тонечка, почему должна умереть?

Домой Сонька тогда не пошла. Приходила Матрена. Сонька отослала ее обратно к младшим. Приходили соседки, поохали, но у Соньки не было сил их слушать. Замочила тряпье – отстирается, все сгодится, не выбрасывать же добро, не по-божески это. Отмыла полы, накипятила воды, сварила жиденький овсяный кисель, приготовила травяной настой. Села ждать.

Чего ждала – и сама не знала.

В великой русской литературе Сонька бы думала. Думала бы и о своей жизни, и о Тонькиной, и о братьях, и о том, как бедовать дальше. Монолог ее лился бы долго и бойко, полный и красивых описаний, и точных сравнений, и женской мудрости, и народной скорби. Но Сонька не жила в великой русской литературе. Она просто сидела рядом с Тонькиной постелью, сидела, ничего не делая, одновременно и совестясь, что ничем в кои-то веки не занята, и радуясь, что наконец может немножко отдохнуть. Радость эта не зависела от нее, была чистой и стыдной, тихой и большой, настолько сложной, что Сонька изо всех сил отгоняла от себя это чувство. Тонька то почти переставала дышать, то снова что-то булькало у нее в горле, как будто она тонула, но снова и снова выныривала из воды. *За что, Господи?* Но плакать сил не осталось – очень уж Сонька устала за день.

Порубленные иконы до ночи провалялись во дворе – странно было на них смотреть, страшно ходить мимо, грех-то какой! И каждый, кто проходил мимо – баб-то набежало! – отводил взгляд, мелко крестился, охал и снова крестился. Когда стемнело, Сонька собрала-таки щепье в мешок. Занесла в дом. Куда девать? Утром, затопляя печь, села рядом и стала кидать в огонь обломок за обломком. Страшно ей сначала это показалось, *ох, страшно, грех неизбывный*, а потом поняла: нечего уже бояться, нечего отмаливать, не отмолить уже ничего, никто не слышит. И сожгла все до последней пылинки. Бестрепетно. Перекрестилась. Трижды – шевеля молча губами, не произнося ничего даже в мыслях. Как без креста-то? Никак!

Тонька тогда выжила, но толку?

Болела и болела, высыхала, выжелтивалась, как потравленное дерево. К осени таки умерла: серый дощатый гробик, серенький день похорон, поминальный серый хлеб. Не смотреть ей больше серыми глазами в серое небо.

Все маменькины подзоры, все Тонькины накидушки, и цветок герань, и тот самый топор – всё досталось Соньке: Тонькины родители к тому времени умерли, и младшие ее, малые брат и сестра, не выдержали того, давешнего голода, сгибли еще тогда. Так что все, все досталось Соньке – хорошие вещи. Окна дома закрыли ставнями, чтобы не пялился на дорогу, не пугал людей. Продавать его Сонька не могла, дом – Савельево наследство, один он хозяин в дому родительском оставался.

Однако Савелия никто больше не видел. Поговаривали люди, что уехал в Петроград. Там народу много. Флаги красные, оковы снятые, люди свободные, счастливые. Поговаривали, потом перестали. Нет человека – нет и разговоров.

Да и некогда, и так всего своего полно вокруг: хребет Весёлые горы, ошметки демидовских времен, старая церковь с чугунным полом, высокое небо, хищные птицы над рекой, крепенькие грибочки в траве с прилипшими хвоинками, заброшенные шахты по лесам – все, что нужно людям, не знающим, что мир может быть другим.

Следующим летом Сонька разобрала дальний огородный угол, посадила там несколько подсолнухов. Вот разве странность: семечек никому не давала, ела только сама. Сидела часто вечером на ящичке рядом со зреющими цветами, расшивала наволочку – тоже подсолнухами. Огромными, аляповатыми, желтыми – вырвиглаз! Когда вышила, надела на свою подушку, ту самую, все такую же тощую, как и три года назад. Вечером, уложив остальных, легла, уткнулась в нее лицом, чтобы ни вздохнуть, ни выдохнуть. И – закричала. Кричала Сонька беззвучно, только широко, страшно разевался черный рот, разевался в вышитые черные сердцевинки желтых цветов, текла, впитывалась в подушку горячая слюна: «Петенька мой!»

Надо было жить. И Сонька жила.

История вторая
Тридцатые

Возьму свою девью красоту
На свои-то ручки белые,
На перстни на злаченые,
Я прижму свою девью красоту
Крепко-накрепко к ретиву сердцу,
Подыму свою девью красоту
Выше буйной своей головушки,
Опущу свою девью красоту
Против сердца ретиваво.

Свадебная уральская песня

Раньше жили – слезу лили,
а теперь живем – счастье куём.
Советская пословица

В тридцатом году Матрене исполнилось тридцать пять. Замуж она так не вышла. Вроде и сильная девка, удача – получить такую в семью вместо ломовой лошади. Только эта ломовая лошадь ломовой лошадью быть отказывалась. Глаза красивые, горячие, да вот взгляд – как тупой топор. И год от года этот взгляд становился тяжелее.

Хотелось, конечно, и ей быть как все: чтобы и замуж взяли, и родить. Только не брали. То ли кривая рожа тому была виной, то ли характер. Зато пощупать где – как бы случайно схватить за грудь, шлепнуть по заднице, провести ладонью по бедру, – так это святое! И однажды Матрена поняла: не в замуже дело. А в том, чтобы получить, что нужно сейчас: новый платок или чтобы просто не скучно жить. В деревне ее считали гулящей. Да что считали – такой и была и не слишком скрывала, вот только говорить про ейные шашни почти не говорили: тотчас вспоминали, как однажды, услышав позорное слово от одной из соседок, Матрена, шедшая домой с водой, молча остановилась, поставила ведра на землю и так же молча двинулась на соседку с коромыслом. Руку зашибла дуре хорошо, да и кровью немного пришлось той беспортошной похаркать. Сонька едва дочь оттащила. А когда муж соседкин Прокоп, из местного артельного руководства, пришел разбираться с бешеной девкой, то досталось и мужу. С тех пор ни одна баба ничего даже пискнуть Матрене не смела. Может, из страха получить по спине если не коромыслом, то первой попавшейся каменюкой, а может, и потому, что вспоминали еще, как меньше чем через месяц загуляла Матрена с тем самым Прокопом – загуляла в новых сапогах, в новых серьгах – не золотых, конечно, зато новых. Тьфу, позорище! А жена Прокопа частенько стала появляться с синяком под глазом. Муж учил. За злой нрав. За непокорность женину. За рыбью стылость в постели. Вот тебе и Матрена!

Все остальные девки в семье, кроме старшей, устроились как до́лжно. И с пирогами у сестер, вспоминала иногда Матрена с тайной обидой, сразу складывалось все правильно: сначала куличики из грязи лепили, потом, как полагается, сидели рядом с мамкой, пока та что-то пекла, присматривались, получали по первому кусочку с готового печева, потому что маленькие (вечно маленьких любят больше!), а затем и сами стали управляться-хозяйничать: ровные пироги выходили, с защипами, как по линеечке. И сами сестры на вид чисто пирожками румяными казались. Муж у каждой появился, как и когда положено. Брату же совсем про пироги

думать не нужно было: сначала мать кормила, затем стала кормить жена, как испоконь веков заведено.

Первой Агния замуж вышла – в соседнюю деревню, через полгода Олька – на соседнюю улицу. Сын, вроде бы единственный наследник и хозяин, по комсомольской прогрессивной линии год назад неожиданно уехал учиться в Тагил и, кажется, решил не возвращаться, тем более что обещали отправить на учебу еще дальше, в Свердловск, там же, глядишь, и Москва звездами замигает. Осталась Матрена в доме с матерью и самой младшей сестрой Маничкой.

Впрочем, бабье их царство недолго оставалось таким – Маничка, лишь стукнуло ей семнадцать, тоже обзавелась мужем, Григорием Ивановичем, если попросту, то Гришанчиком. Вот ведь Манька: не наособицу решила жить, своим, значит, домом, а в материнский дом притащила нахлебника. Гришанчик, впрочем, только и мечтал подженится – сам-то неместный, из наезжих, в артели «Электросвет» работал. А тут целый двор без хозяина. Да и Маничка цвела как цветочек, впрочем, какая девка не цветет в семнадцать? В общем, Маничка от счастья зацвела вдвое больше, а через год пузо отрастили оба: Гришанчик – на домашних пищах и в спокойствии, потому что никто ему тут был не указ, Маничка – по естественным женским причинам. Еще через год в доме шмыгало два, а в тридцатом – уже три детских сопливых носа.

Все бы ничего, да только Гришанчику, зажиревшему на домашнем хлёбове, не нравилась Сонька и слишком нравилась Матрена. Сонька казалась неприятной и странной: с этими своими подсолнухами в углу огорода, с этим своим блеклым безразличным лицом, с нездоровой любовью к чистоте. То, что теща почти всегда молчала, раздражало Гришанчика: все ему казалось, что она не одобряет каждый зятьев шаг. Внуков старалась не замечать, как Маничка ни ныла. Один раз подержала старшего на руках, покачала его, посмотрела на тоненькие темные ресницы заснувшего, так потом ее два дня с чего-то лихорадка натрёсывала. Сонька готова была пахать за троих, пусть даже и падала без сил, лишь бы не видеть, как младшая дочь сидит у люльки, зевает, бормочет какую-то песенку, – поскорее бы вырос очередной молочничек! Припоминал Гришанчик и то, как однажды, только-только переехав к жене, чуть ли не во второй-третий день после женитьбы, пришел домой, захотел пить. Во дворе стоял большой бочонок, к бочонку подцеплен ковшик и кружечка. Гришанчик зачерпнул ковшом воды, напился вдоволь, бросил ковш в воду. Все как полагается – не как свинья же прямо из бочки лакать? Сонька увидела, охнула, скривилась. Опрокинула бочку, вылила из нее всю воду, отмыла изнутрей, отскребла со тщанием, также и ковш, и кружку. Налила чистой воды. Редкий случай, когда заговорила – тихо-тихо, Гришанчик едва расслышал: «Ковш возьми, в кружку налей. Из кружки выпил, еще раз ковш набери и кружку-то ополосни. Понял?» Гришанчик обиделся: вот вроде и не свинья, а обошлись, как со свиньей! Скандалить по первости побоялся, засопел обиженно, ушел в дом. Маничка смеялась: мол, что ты, Гришанчик, это просто мама у кержаков наших присмотрела, много лет так уж делает, чтобы зараза нигде не завелась, сам знаешь, как она чистоту блюдет, ну да, она у нас странная, это ничего. Гришанчик смотрел на Маничкины розовые щечки, белые зубки, приятную грудь под сорочкой, и его подташнивало и от розовости Маничкиных щечек, и от староверов-чистоплюев, а в особенности – от Маничкиного тела, пахнущего душным бабьим потом сквозь ароматец им же подаренного розовенького мыла и вонючего дикалона, редкого для деревенской бабы.

Гришанчик не раз потом вспоминал, как Сонька напрягла разом и тощие руки, и тощие щеки – а острые лопатки, казалось, были готовы прорвать ткань на спине, – и опрокинула эту бочку. Вода лилась, впитывалась в пыльную землю и грязноватый вечер, в мелкое ощепье на земле, пятна остались и на ее юбке, и на Гришанчиковых штанах. Вот же дурость выдумала Сонька.

Маничка продолжала посмеиваться, и ногу голую возлагала на мужнину – намекающе, и зубками ухо ему прикусывала, а Гришанчику в это время очень хотелось взять Маничку за косу и садануть головой о стену. С размаху! Но пока было не время. Гришанчик выдохнул,

засунул руку Маничке под рубашку, и Маничка наконец замолчала, точнее, задышала тяжело и жадно, не производя более никаких лишних бабьих звуков.

Матрена тоже раздражала Гришанчика. Но совсем иначе, чем Сонька, Маничка и все это тупое бабье. Первое время, обживаясь, подбирая под себя все вокруг – жену, тещу, дом, хозяйство, он мало замечал невестку, разве что ухмылялся, не понимая, как такое недоумение может существовать: ни Маничкиных гладких щечек, ни смущенно-игривого бабьего смешка, рожа в дорожных колдобинах. Работать может, конечно, но ленивая. И готовит без азарта, не то что недотепа Маничка, которая сама пирожок сдобный свежий, хоть и полная дура. И чо только в Матрене мужики находят? До Гришанчика доходили разговоры, что Матрена слаба на передок, но он смотрел на ямы и рытвины ее лица и брезгливо отворачивался. Впрочем, Гришанчик был туповат.

А потом случился тот самый июль. Жена ходила беременная уже третьим, ходила тяжелее, чем обычно, лето стояло знойное. Маничка как-то обрюзгла вся, отекла, то ли от жары, то ли от младенца, шла животом вперед – словно носом лодки речное течение разрезала. А тут еще сенокос. Поехали всем семейством.

Гришанчик, глядя на благоверную, кривился: капли пота текли по ее распухшему от жары и беременности лицу, живот – нет, не живот, а чрево – безобразно оттопыривало одежду, хотя и не должно еще было ее так разнести, как свинью на откорме, ноги распухли: каждый пальчик – сосисочка. Неумолкающий свой голос Маничка тянула и вытягивала, точно блудливая кошка – хвост. Матрена молчала, лишь привычно брезгливо морщилась, если ее взгляд натыкался на Маничкины мокрые щеки или яркие, будто бабьи, губы Гришанчика.

Косила Матрена получше любого мужика. Шла ровно, не задыхивалась, не хихикала. Ровно всколыхивалась и ее юбка, мерно двигались локти без пухлых женских ямочек, с темной шероховатой кожей на самых остриях – будто пристала к ним сухая земля. Сквозь загар кое-где едва просвечивали редкие веснушки, рыжеватые, мелкие, как звездные точки на небе. Матрена шла уверенно, свободно, не в раскоряку, как противная Маничка. Когда Сонька позвала обедать, Матрена с облегчением остановилась: не потому, что устала, а потому, что ей, как обычно, быстро надоело работать, надоел шорох травы о железо, надоел этот день, надоело все, она бы с удовольствием стала кем-то другим и прожила бы какую-то другую жизнь, но, как всегда в подобных случаях, она и не знала (а если б узнала, то не поверила), что возможно стать кем-то другим. Вздохнув, лениво поворошила босой ступней скошенную траву. Та зашелестела и вынесла наверх, на свет, крошечный цветочек. Поддавшись какому-то допотопному, подсознательному детскому рефлексу, Матрена наклонилась и вытащила этот цветочек из смятой кучи, переставшей дрожать на ветру и начинавшей оседать, как пена плохо взбитого яичного белка, за кончик жидковатого стебля, растрепанной темно-желтой, закоричневевшей головой вниз. Он оказался маленький, чахленький, с ободранной уже половиной, блеклый, трогательный, расцветший, казалось, только для того, чтобы вызывать жалость. Матрена сжала стебелек в щепотке, понюхала его, чихнула и выбросила, потеряв к цветку интерес. Наклонила голову сначала вправо, потом влево, повертела занывшей шеей, потянулась так, что в позвоночнике у нее что-то хрустнуло, и отправилась обедать.

Она и не заметила, как Гришанчик воткнулся в ее икры взглядом, поплывшим от жары. Когда Матрена наклонилась за цветком, юбка поднялась несколько выше, чем обычно, и зять вдруг обратил внимание на ее ноги: крепкие и ровные, не толстые, как у большинства местных баб, не тощие, как у больных или городских дамочек. Ноги покрывал темно-золотистый ровный загар, резко переходящий в незагорелую, стыдную, манящую белизну. Гришанчик сглотнул, представив, как он сжимает ногу свояченицы чуть выше колена, проверяет ее на мягкость и упругость, как его ладонь поднимается выше и выше и Матренино междуножье, как в страшной и прельстительной сказке, почти засасывает мужскую руку – пыльную, жестковолосую, с черными ободками ногтей – в белую, розовую, бордовую женскую мякоть. Ветер слегка колых-

нул Матренину юбку – вправо-влево, а может, Гришанчику просто почудился этот ветер, июльский, густой, тяжелый, горячий, как Матренин широкий зад под юбкой. Матрена выпрямилась. Гришанчик почти не видел ее лица, только шею. Яркий солнечный свет стер с шеи следы оспин. Матрена стояла к зятю вполоборота – видно было, как пропотевшая рубашка прилипла у нее под мышками и между лопаток. В щепоти ее замер, как замер сейчас похотливый сестрин муж, блеклый скучный цветочек, тоже почти стертый солнцем. Если бы Гришанчик знал больше о мире, эти пальцы с цветком в них напомнили бы ему пальцы мадонны Бенуа, но он ничего не знал ни про мир, ни про мадонну Бенуа, он видел только горячий полдень, загорелые лодыжки, ровный столп Матрениной шеи, пытался представить, как пах бы ее пот на его ладонях – травяным соком, крупной солью. Матрена разжала пальцы – цветочек упал и исчез, по пути к исчезновению несколько раз перекувырнувшись в воздухе. Матрена потянулась – все в том же нещадном июльском свете, тело ее задрожало, как трава, готовая к тому, чтобы ее скосили. И обернулась к жующим в траве людям. Гришанчик не заметил ни здорового зевка невестки, ни ее ленивый, безразличный взгляд, он только почувствовал всем телом движение ее тела – вздрогнувшего, напрягшегося, вновь расслабившегося.

«Гриш, ну ты чо там встал?» – тянучий, недовольный и одновременно сладкий голосочек Манички притек к нему откуда-то сзади, облепил, заставил гадливо дернуть ртом.

С того дня Гришанчик смотрел на свояченицу несыто. Руки, правда, не распускал. Сам не мог понять почему. Если бы не был туповат, понял бы, что ему просто страшно. Вот что именно страшно – объяснить было гораздо сложнее. Может, так и перепускал слюну, переоблизывался бы, перебоялся мужик, если б не решил через месяцочек вечерком посидеть на берегу Межевой Утки с гусыней бражки: в тишине, без визга вечно ссущейся мелкоты, без отвратительного колышущегося Маничкина живота, без Соньки, молчаливо и неодобрительно сидящей под своими подсолнухами и подрубающей очередную бесконечную тряпицу-пеленку-полотенчико. Гришанчику хотелось молча посасывать горькое-кислое из горлышка, молча смотреть на воду, от теней нависших над ней сосен темную, как Матренины глаза, и теплую, как внутренняя сторона ее бедер во сне. Набравшись по самые ноздри, побрел обратно. Уже почти стемнело. У сараюшки, стоявшей на самой деревенской окраине, кто-то двигался, пошумливал, но как-то странно. Ворье там не ворье – Гришанчик, будучи труслив, даже спьяну разбираться не хотел, тем более хоть как-то себя обозначить. Решил обойти и забыть. Однако, шагнув вправо, понял, что это не ворье и не хозяева, а мужик. С бабой. Зажимал ее у занозистой стенки невидимый в сумерках кавалер. Баба молча[2]ла, только дышала громко, так громко, что ее расслышал даже пьяненький Грашанчик – «а-а-ах». Мужик мял ее ляжки, грудь, вминался в нее весь, каждым своим дерганьем заставляя ее раздвигать ноги шире – «а-а-ах». И при очередном «а-а-ах» Гришанчик вдруг понял, что это Матрена. С кем-то из артельных. Как понял – сам не знал, но это «а-а-ах» заставляло Гришанчика принюхиваться, как псину, щетинистые волосешки поднимались на жирном загривочке. Кровь прилила к лицу. И не только к лицу, кхм. Хотелось оторвать от Матрены эту темную фигуру и месить, месить, месить, ебать, ебать, изблевывая из себя все самые грязные известные ему слова. Гришанчик сам не понимал, чего он больше хочет и от кого – избить того, выебать эту. Поэтому он просто молча вслушивался-всматривался, сам будто двигаясь в такт с тем неизвестным, взглядом толкая его в спину: быстрее, быстрее, глубже. И в один момент все прекратилось. На штанах Гришанчика расползлось темное пятно, странным образом совпавшее с последним Матрениным а-а-ахом. Матрена оттолкнула неизвестного. Тот засуетился, застегивая штаны. Матрена вздохнула. Кажется, мелькнуло ее голое бедро. Или просто показалось. Белое пятно, тут же смазанное сумерками.

Гришанчик громко икнул, попятился испуганно назад – и споткнулся.

Блять!

---

[2] Гусыня (*зд.*) – трехлитровая банка вина или браги.

Он упал, ударился головой о какой-то булыжник, и все исчезло.

Когда очнулся, вокруг прела глубокая ночь. Пел соловей. Соловьи давно должны были отпеться, один этот непонятно почему выводил руладу за руладой, тоскующе и глумливо. Сначала лежать показалось хорошо, удобно, но вдруг резко к горлу подкатила тошнота. Охая, Гришанчик сел. Его тут же вывернуло. Вытер кулаком вонючие, липкие губы. В затылке пульсировала боль. Потрогал волосы – на руке осталось что-то липкое. Кровь. Бляха-муха, надо ж было так долбануться! Ладно хоть живой остался. Гришанчик наконец встал: сначала на корточки, виляющим задком кверху, минут через пять решительно попытался из мартышки превратиться в человека. Запинаясь – *ёбана в рот, затылок уже разъебашил, еще лоб не хватало расхуярить!* – побрел в сторону дома. Что-то постоянно белелось ему впереди – то ли мушки в глазах, то ли бедро Матрены, плотное и мягкое одновременно, как густые сливки в крыночке, прикрытые чистым полотенчиком, бедро, перетекающее округло в ягодицу, покрывавшуюся от вечернего холодка и вожделения гусиной кожицей. *Вожделела, вожделела Матрена зятя*! – крутилось в его голове непонятное, навязчивое. Гришанчик вновь проблевался. Белое не переставало мерещиться впереди, не переставало манить. Приласкиваясь мутным взглядом к этому пятну, едва не прошел собственный дом. Но не прошел: показалось, что за забором кто-то хихикнул – мелко, по-женски, как будто подглядывая за ним в дырочку от сучка в заборе. Гришанчик попытался нахмуриться. Показалось, конечно.

Дом за забором и вправду темнел нужный. Гришанчик добрался до постели, ткнул в бок ждавшую, но не дождавшуюся мужа тупую Маничку и вырубился.

На следующий день Гришанчик кое-как поднялся. Маничка, начав заправлять постель, обнаружила на мужниной подушке подсохшее пятно сукровицы с коричневым разводом посередине. Хорошо, значит, он затылочком-то об камешек приложился. Жена испуганно раскудахталась. Визжали привычно дочки, Сонька будто специально не ходила – шаркала по дому, едва передвигая ноги. Шорк-шорк. Гришанчик не понимал, что больше его раздражало, скрипящие под ногами тещи половицы или этот шорк-шорк. От мыслей о еде мутило, от мыслей вообще – тем более. Гришанчик вяло отмахивался от кисельных Маничкиных рук. И, устав от ее кудахтанья, наконец послал ее туда, куда уже давно нужно было послать.

Матрена появилась в доме только днем – с утра возилась в огороде под Сонькиным присмотром, проклиная и Соньку, и непривычно жаркий в этом году август, и все, что росло, зрело, уже вызрело, требовало бабьего внимания. Не любила она трескавшуюся от жары землю, бесконечные ведра с водой, будто впустую опрастываемые под обвисающую огородную зелень. Картофельные и свекольные плети липли к юбке, точно назойливый кот: сколь не отпихивай его, все равно будет лезть, ластиться, обвивать хозяйскую ногу вздрагивающим хвостом. Кстати, когда ластятся, тоже не любила.

Нравится – не нравится, а без репы и лука зимой животу придется несладко. При мысли о возможном неурожае каждая нормальная баба вспомнила бы про Петеньку, однако Матрена не хотела ничего помнить. Впрочем, и голодать не хотела. Поэтому угрюмо собирала, вырывала, резала, сушила, выполняла тоскливую работу, определенную судьбой каждой женщине.

На обед Сонька быстро сготовила тюрю на квасе – черные сухари, лук, укроп. Плеснула немного в миску и подсолнечного масла – для запаху. Гришанчик едва выполз к столу за стаканом пустого кваса, который Сонька умела ставить такой ядреный, что одним запахом мертвого подымет. Бахнул стакан, бахнул второй, третий цедил, морщился, стараясь не глядеть на тошнотную сейчас для него тюрю. Матрена хлебала месиво, как мужик, почесывая бок, широко расставив под столом ноги, тяжело поднимая ложку, хмуро время от времени обводя взглядом стол и сидящих за ним, сидя вроде бы вместе со всеми и все же, как всегда, немного наособицу. Шея ее загорела почти до черноты, но, как пережарившийся в печи каравай, прочерчивали ее несколько трещинок-разломов, в которых светилась белая, совсем нелетняя кожа. Выскользнула из-под светлого платка влажная от пота прядка волос, две капли дрожали на

левом виске, настолько крошечные, что никак не могли скатиться вниз. Матрена проглотила очередную ложку тюри, и одна из дождинок пота все же сорвалась, слегка задев скулу, оставив на ней незаметный след, по золотистым волосинкам на ее руке вытянулась, как блестящая ниточка, – *драгоценное!* Сердце Гришанчика упало вместе с этой каплей. Подлая же баба, высасывая застрявшую между зубами ниточку лука, смачно то ли чокнула губами, то ли цыкнула. Сонька прошелестела: «Нишкни, бесстыжая». Охнула, прижав руку к животу – *да что ж такое, весь день ногой в живот долбит, ироденьш!* – Маничка. Гришанчик додавился квасом. Опустил глаза: встрепывал единым крылышком на полу солнечный луч, тянувшийся из окна куда-то вглубь избы, в сыроватую тьму сенок. Луч вспыхивал, как Матренины волоски чуть выше и чуть ниже локтя, как самые кончики ее ресниц.

С того дня, с того вида упавшей на Матренину руку капельки пота, Гришанчик таки растерял страх и стыд. Проходя мимо вожделенной бабы, толкал ее, чтобы ощутить, как всколыхнется ее тело, начал лапать за все, что попадалось ему под руку. Через неделю после того, как упал, подкараулил ее в сенках. Вжался в нее весь, как тот неизвестный, недовиденный в августовской темноте, зашарил лапами в юбке, нащупывая горячий зад, – все, как учуял тогда, как хотел бы сделать сам. Но только нащупал, взвыл от боли – Матрена коленом ударила зятя в пах. Оттолкнула – Гришанчик отлетел, стукнулся о стенку почти зажившим затылком, взвизгнул, не зная, что лучше оборонить-прикрыть – голову ли, причиндалишки. Матрена, выдохнув, поправила юбку, вышептнула брезгливо:

– Те чо надо, ботало дикошарое?

Мужик в ответ простонал что-то невнятное.

– Да и ботало из тебя – тьфу! Курам на смех! – И Матрена хлопнула дверью.

Но Гришанчика было уже не остановить. Все, о чем он мог думать, – о Матрениной ягодице под его ладонью, на ощупь сначала кажущейся слегка шершавой, но потом становящейся – сдави ее лишь покрепче – нежной, как колокольчики медуницы, мягкой и в то же время упругой, как малиновый кисель, который она готовила лучше всех в деревне. Варили же его в Висимо-Утке очень густым, настолько, что, если положить на кисель ложку, она не проваливалась внутрь, а медленно погружалась в него, будто в болотную трясину. При одной этой мысли хуй его неумолимо оживал, поднимался вверх, как ясно солнышко поутру.

Попробовал Гришанчик подобраться к невестке ночью, пока все спят, пока спит и сама Матрена. Но – смех и грех! – Матрена оказалась действительно сильной и злой бабой: прижать ее, чтобы не могла сопротивляться, сумели бы разве два таких мужичонки, да и то вряд ли. На память об той попытке Гришанчику остались разбитая губа и утреннее квохтанье ничего не понимающей Манички, засыпавшей с целым мужем, а проснувшейся с побитым. А еще: возможность снова и снова вспоминать, какая же у Матрены на ощупь грудь, при этом, однако, будучи абсолютно не в состоянии это вспомнить.

Самое смешное – Матрена, в общем-то, не защищала свою мифическую девичью честь и не смущалась тем, что Гришанчик – сестрин муж: просто не нравился ей этот низенький, сытый, легко краснеющий поросеночек с раздражающе светлыми, тощими, уже начавшими сыпаться с макушки волосенками, с назойливо сладкими глазками. Разве ж это мужик? Матрене противно было смотреть, как Гришанчик ел: не кусал хлеб, а отскребывал от него по крошке грязным ногтем, мучая еду, как беззащитную животину; жевал добрую пищу, чавкая, показывая всем полупережеванное во рту – *смотрите,* мол, *люди добрые, угли горящие подали на стол, не похлебку, жру, уже не выплюнуть,* – и неопрятные крошки все время падали и прилипали к доскам стола; если брал из туеска землянику, то каждую ягодку внимательно обшаривал вечно припухшими глазками, тщательно сдувал прилипшие хвоинки и паутинки, точно не ягода перед ним, а молодая девка, еще даже не заневестившаяся. Матрена не понимала, как Маничка не замечает его бабски оттопыренный зад, ярко-розовые губки, сложенные противным бантиком, белые волосики бороды, кажущиеся белесее, чем они есть, из-за легко

красневшего лица. Если бы Маничка привела в дом другого – высокого, молчаливого, угрюмого, угрюмей самой Матрены, та бы ни минуты не раздумывала, обрати он на нее внимание. И сестрой бы не смущалась. Маничка что? Маничка – дура. Пусть живет, рожает, кудахчет, этого ей вполне хватит. Но вот при мысли о сальном Гришанчике Матрену начинало мутить – брезговала. Главное: не могла она всерьез воспринять его влажные ладошки, которые он при каждой возможности пытался о нее обтереть. Раздражать – да, раздражал, однако как всерьез такого бояться, как уважать? Такому дать – себя не ценить.

Странно, но Маничка не замечала происходившего прямо у нее под ее носом-пуговкой. Сонька-то быстро поняла, почему Гришанчик стал так часто сталкиваться с Матреной в дверях. Но как об этом можно было говорить с Матреной, которая давно знала, что к чему в этой жизни? Когда старшая дочь только начала открыто погуливать, Сонька однажды попыталась поучить беспутую, хлестанула пару раз отцовским ремнем, р-р-раз – по лицу, два – по шее, и – [3]*вот тебе еще, доченька, позорище родительское, по рукам, по рукам, по запястьицам, за которые тебя к земле прижимают, за которые держа на сеновале валяют*. Хоть Матренина кожа и казалась грубой, кровавые полосы вспухли на ней вмиг. Сонька на полувзмахе выронила ремень: красные полосы – *по ручкам, по шейке,* – будто Петенька встал перед ней, начал возникать из ниоткуда мальчик родненький, складываясь из этих полос, как домишко: бревнышко – к бревнышку, отрубленная косточка – к косточке хрустнувшей, кровавая полоса – к лопнувшей коже. И глаза у Матрены потемнели и стали неподвижными: совсем Петенькины. Сонька зашлепнула рот ладонью и завыла – утробно, не столько наружу, сколько внутрь себя самой. Маничка завизжала, не понимая, чего визжит: мать жалко? страшно? просто надо взвизгу выдать ради момента серьезного?

Матрена не отпрянула, не испугалась, не подошла к матери – стояла, глядя то ли на нее, то ли сквозь нее. Дышала тяжело, как если бы спустилась с горы и тут же вновь поднялась в гору.

Сонька упала на колени:

– Уйди, уйди, уйди, Христа ради, не мучай меня!

– Да куда я пойду, ночь на дворе, – неожиданно спокойно ответила Матрена, вроде и не чувствуя, как пульсирует кровь под опухшей кожей на щеке и шее. – Да и вообще спать хочется. – И полезла на полати.

С тех пор Сонька не замечала, когда подлая дочь являлась домой за полночь, а то и под утро. Не обращала внимания, если у Матрены появлялся новый гребешок или платок. *Не было этого ничего, не было*. И Петеньки не было. И дочь у нее – как у всех. И так все и шло дальше – своим чередом, словно действительно ничего не происходило.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если б однажды воскресным днем, свежим и золотистым, как осеннее яблочко, Гришанчик не застал Матрену одну в избе: Маничка со всем выводком сидела у сестры Ольки, теща ушла на кладбище. Стояла свояченица у небольшого настенного зеркальца, вся выходная, почти нарядная – зелененькая кофточка в полосочку, коричневая юбочка в искорку. Стояла спиной ко входу и потому не сразу заметила Гришанчика, вкравшегося, как лис, в надежде наконец-то полакомиться куриным мясцом.

Гляделась девка в зеркальце – *мутнеющая с каждым годом глубина; россыпь крошечных черных пятен на амальгаме, похожая на россыпь родинок; бумажный цветок, заткнутый за правый верхний угол; мелькнувшие и исчезнувшие усики таракана* – и что-то пыталась выглядеть в своем рябом лице. За этой рыбьей рябью скрывалось другое ее лицо, не грубое лицо деревенской бабы, изрытое следами оспы, – лик призрачный и тонкий, с чуть удивленными бровями, одна немного выше другой, с тяжелыми венецианскими веками, бестревожными зрачками, лик, не тронутый привычными брезгливостью и равнодушием, засевшими в ней крепко, точно клещ, добравшийся до венки. Матрена проваливалась в это отражение сво-

[3] Беспутая – беспутная, непутевая.

его и в то же время чужого лица – под тонкий лед стекла, в зазеркальную жуть. Губы ее непривычно сложились в почти улыбку – почти мягкую, почти настоящую, почти готовую родить что-то иное, не похожее на нее. Матрена медленно опустила глаза вниз, медленно подняла вверх руку – *кукла, которую потянули за веревочку,* – и медленно прижала ладонь к животу. Лицо ее снова дрогнуло – и настоящее лицо, и то, волшебное, потайное, с тяжелыми венецианскими веками. Дрогнуло и рассыпалось сразу на несколько лиц: одно испытывало страх, другое беззащитно зажмурилось, третье гордо сжало губы – вот, мол, и я могу, не пустоцвет, мол, не сухостой, и наплевать на всех; четвертое не знало, что будет делать, но желало втайне, чтобы это мгновение длилось вечно, поскольку не существует радости без горечи и страха без надежды.

И вот по этому вечному – оберегающему – жесту всех женщин всех времен Гришанчик понял: брюхатая. Горячая волна гнева залила его: не от него понесла! Да как она могла, сука. И была бы баба хорошая, так нет – уродина, деревяшка бездушная, зад кобылий, спина, как у гробовой доски. Сука. Сука! Горячая волна залила его снова, окрасила розовенькую свиную кожицу в алый цвет; пальцы его, грудь, шея, живот будто распухли, обагровели – спелое вишенье, яркий кумач. Глотка извергла тонкий, режущий по живому звук, такой же свинячий, как его кожица: СССУУУКА. Матрена обернулась, но, к несчастью, замешкалась – слишком уж расслабилась, думая, что одна в доме, без привычных лишних глаз.

Первый удар Гришанчикова сапога пришелся ей как раз в защищающую живот ладонь. Косточки пальцев хрустнули, женщина задела зеркало. Оно упало, брызнули во все стороны кинжальные осколки. Матрена покачнулась, всхлипнула и тоже упала. Гришанчик взвыл и – с той же сладострастностью, которую ему постоянно приходило утишать и скрывать, глядя, как Матрена нагибается при мытье полов, вытирает губы после еды, жадно пьет воду, – начал бить ее: сапогами – в живот, по лицу, плевал на нее, топтал, *с-с-сука, су-у-у-ука тупая, почему не я, да чтоб ты сдохла, еще получи*. Матрена скорчилась, пытаясь прикрыть и лицо, и живот, но как было защититься от ударов по заду, по позвоночнику, по плечам – СССУУУКА – кажется, и слов у Гришанчика не осталось других – ни для Матрены, ни для себя, ни для мира. Пусть сдохнет, сука! Сапоги его измазала кровь, и это только больше возбуждало. Кто-то вдруг вцепился сзади. Гришанчик не стал оборачиваться, отмахнулся, ударил еще, не слишком понимая, кого бьет, зачем, едва не поскользнулся на пятне крови – слишком стало много крови, слишком, но думать об этом Гришанчик не хотел, – снова обернулся к Матрене, снова занес ногу.

И вдруг наступила темнота.

…Сонька возвращалась с кладбища. Зашла во двор, привычно перекрестилась, пошептав, на дом, на невидимые за домом подсолнухи. Хотела ненадолго присесть на крыльцо, однако в доме что-то стукнуло, подобно сердцу в грудной клетке, скрытому от слышащего его телом, рубахой и полушубком. Показалось? Но тут раздался крик. Кричала Матрена! Сонька кинулась внутрь – запнулась за ступеньку, упала на колени, чуть не покатилась вниз, вцепилась в ступеньки и так и поднялась по следующим трем – на четвереньках, измазав рукав грязью, занозив ладонь.

«СССУУУКА!» – будто напахнуло на нее из прошлого запахом иконных щепок, мочи и крови.

Гришанчик не бил – казнил. В упоении. Будто это оказалось смыслом его жизни. Бить в мягкое, в нутряное, в белое, набухавшее, брызгавшее помидорным соком, багровеющее, синеющее, в месиво лица, словно оно было влажным месивом женского лона. «Ах-х-х». Удар за ударом, стон за стоном. Наконец он ни о чем не думал, не ворочался Гришанчиков неповоротливый мозг, ленивый язык. Хоть так он смог дать им покой.

Сонька тоже не думала. Откинутая Гришанчиком, она поднялась на ноги и с тем же отчаянным криком – бессловесным, в котором смешались и слезы, и отчаяние, и животное жела-

ние защитить свое, Сонька схватила полено и ударила Гришанчика по затылку. «Су-у-ука!» – должно было вспыхнуть в его голове, но не успело. Все в один миг прекратилось.

Сонька снова провалилась в прошлое: перед ней лежало окровавленное женское тело, синяки просвечивали сквозь разодранную юбку, кровь растекалась вокруг, точно река вышла из берегов в половодье.

Хрусть! – сломался под ногой дешевый Матренин гребень: один деревянный зубчик отлетел в алую лужицу. Соньке почудилось дикое: зубчик начал намокать, разбухать, заполнять собой всю комнату, протыкая Матренино тело насквозь, как копье протыкает бок жертвенного животного. Ничего не осталось в мире, кроме гребешка, от которого – *хрусть-хрусть* – отскакивали один за другим длинные зубья, вонзались в спутанные Матренины волосы, накручивали их на себя, как нитку на катушку. Смерть вкладывала персты в женские раны. Гребень был смертью, смерть была гребнем. Сонька завыла – безголосо, разевая рот по-рыбьи. Но наружу выходил только сип. Она открывала рот все шире, шире, шире: крик наконец вышел из нее – как рвота. И спал наконец морок: дочь, Матрена, лежала перед Сонькой, не жертвенное животное. И гребешок валялся рядом – сломанная ненужная вещь, а не копийце, не костяные пальцы смерти.

Сонька схватила свой фартук и связала им Гришанчику руки. Матрена застонала. «Жива, Господи, жива», – мать подхватила ее под мышки и поволокла на кровать, стоявшую в углу без дела. Как когда-то много лет назад тащила Тоньку. На окне трепетал цветок герань – в красных брызгах зеленые листочки. Сонька уложила дочь прямо на покрывало, синее, расшитое черными узорами – хозяйкина гордость! – пыталась осторожно снять лохмотья, оставшиеся от одежды. Все повторяется, все! *Нет спасения, дети мои, и не ждите.* «Мама…» – Матрена шарила рукой, нащупывая Сонькину руку: открыть глаза не могла, так заплыли, лицо – все в кровоподтеках. «Лежи, лежи», – шептала Сонька. Дочь все же нашла ее руку, вцепилась, выгнулась, разинула рот – беззвучно закричала, как только что кричала мать. И потеряла сознание.

Выздоравливала Матрена долго. Лежала огромной уродливой куклой, пялилась в пустоту. Иногда закрывала глаза, непонятно, спала или бодрствовала: ветка, выдранная из древесного тела жизни. Жуткое, раздувшееся лицо, похожее на подушечку для иголок из бордового плюша, туго набитую ватой, почернело, посинело, закоричневело, ожелтело, пока вновь не обледнело, будто земля в давно прошедший Покров. В деревне все замерло, как и всегда зимой. И Матрена перестала касаться живота. Поднимала руку, старалась его не задеть: не от боли – *что ей эта боль, не первый раз, не последний, другой бабьей жизни не бывает,* – а словно от брезгливости.

Матрена еще не знала, но обесплодела она тогда раз и навсегда. Зима стояла как ком в горле: поперек жизни и поперек всего дома. Все в доме молчали. Маничка в тот день, вернувшись от соседки, увидела кровавые пятна, которые Сонька еще не успела подтереть, накидушку с подушки, смятую, упавшую на пол, безжалостно затоптанную матерью, связанного Гришанчика, извивавшегося на полу, оголившего розовый поросячий живот в светлых волосках, и заголосила. За ней привычно заверещали дети. Но тут взгляд ее упал на мужнины сапоги, заляпанные кровью, и березовое полешко с острым сучком посередине, чудом не попавшим Гришанчику в темечко. И Маничка все поняла. Хотя так никогда и не смогла самой себе объяснить, почему именно полено и сапог заставили во мгновение понять то, чему раньше не находилось объяснения: Гришанчиково раздраженное фырканье, когда ластилась к нему, устраивалась под бочок, как кошка после мисочки молочишка; как он смотрел на Матрену, тяжелея при этом ушами, набухающими алостью стыда; почему перестал хвалить ее, Маничкины, блины: то кривой, то не блин, а соль голимая, то от нее, Манички, слишком воняло печью – *отойди, дай пожрать нормально, что ты тут подолом трясешь!* Маничка отходила, не трясла, над каждым блином не дышала – для Гришеньки же пекла, для родненького. Заранее собирала кры-

ночку малины, мелкой, но сладкой, духмяной, сочной. Доставала сметану из погреба, детей, и тех обделяла – ничего им не случится, если блином или ложкой меньше употчуются. То ли дело мужик! Мужику есть надо, мужик работает. «Мужи-и-ик!» – *Господи, хорошо-то как, что в доме наконец мужик есть!* И Маничка трепетно ставила перед Гришанчиком и сметанку, и малинку, и маслица растопленного блюдечко, обмахивала тряпкой табурет перед тем, как хозяин садился за стол. Наливала в стакан чаю – кипяток! Аж па́рил чай, налитый по самые краешки. Себе ни блинчика не оставляла: лишь бы был сыт и доволен мужик, ведь если мужик сыт и доволен, то и семья у него – такая же! Однако блины в очередной раз не удавались. Виноватясь, Маничка ластилась, не чувствуя обиды, ведь на то и муж, чтобы учить жену, как и что не так сделала, глупая, чтобы ночью было к кому привалиться, отдыхая после долгого дня, чтобы можно было заснуть, надеясь, что в следующий раз блины выпекутся все как один похожими на закатное летнее солнце – тонкие, кружевные, румяные, как Гришанчик, круглые, как сама Маничка.

А дело-то, оказывается, совсем не в блинах! Зря переживала она, зря старалась угодить соколу-лебедю своему! И на кого польстился – на сестру-корягу, ни кожи, ни рожи, змеищу-злыдню, подколодницу.

Жена подскочила к Гришанчику, вцепилась ему в лицо: «Ну ты и су-у-ука!» Упала на колени – так удобнее было хватать за волосы, царапать лицо, – упала прямо в Матренину кровь. «Парадная» кумачовая Маничкина юбка тут же измазалась, красное смешалось с красным, но Маничке было все равно. «Сука!» – базлала она, как совсем недавно базлал Гришанчик. «Дура, все вы одинаковые!» – заорал муж, пытаясь отвернуться, но от обманутой бабы разве отвертишься, да еще со связанными-то руками-ногами? Ногти у Манички оказались неожиданно острыми, а пальцы сильными, поэтому с «дуры» муж перешел на бессмысленный визг. Капала медленно Матренина кровь с края одеяла, пропитавшегося ею насквозь – *кап-кап-кап,* – да никто того не слышал: блажили дети, верещал Гришанчик, буйствовала Маничка.

Сонька оттащила младшую дочку от мужа, дала пощечину: «Заткнись уже, и без тебя тошнехонько». Маничка зашмыгала носом. Под окровавленными ее ногтями гармошечкой застряла тоненькая кожица. Кинула взгляд на мужа и снова завыла, но теперь – с вековечной бабьей тоскою в голосе: «Маманя, да что же это тако-о-ое…» Однако Соньке было некогда сейчас с нею возиться: «Детей лучше успокой».

Наверно, именно тогда и пошла между Маничкой и Сонькой трещина: не пожалела маманя, не прижала к груди дочкину голову, отвернулась от родного детища и кинулась к постели, где лежала ЭТА. А ведь не было бы сестры-шалавы, точно был бы Гришанчик доволен блинами, было бы у них все как у людей!

С тех пор перестала замечать Маничка Матрену. Проходила, как мимо пустого места. Точно не лежала та на кровати, точно не задыхалась в кошмарах, когда засыпала. Ни разу не присела рядом Маничка, не подала ни кусок хлеба, ни глоток воды. И детей к болящей стерве не допускала. Впрочем, старшенькая детей все равно не любила: ни вообще, ни тем более сестриных, с отцовски белесыми ресничками, с нытными Маничкиными голосками.

А вот с мужем Маничка помирилась быстро. Навек не оставишь связанным, не убил, чай, никого, так что пришлось развязать мужика. Впрочем, он, похожий на гигантского жирного червяка, беззащитно извивавшегося на полу, больше уже не чувствовал в себе той темной, неистовой, глубокой страсти, с которой только что избивал беременную женщину. Да еще и морда вся разодрана.

Был Гришанчик женой развязан, обруган, оплеван, отхлестан полотенцем, изгнан со двора – с киданием в него тех самых березового полешка и сапога, а также иных предметов домашнего обихода, которые самой же Маничке и пришлось опосля собирать.

Когда дом все же заснул, Гришанчик вернулся, причем вернулся неожиданно по-хозяйски – злой, голодный, тяжелый, медленный. Выпимши. Соньку, сидевшую у Матрениной кро-

вати, взглядом не удостоил, будто и Сонька, и Матрена – тени на стене, не более. Ища впотьмах вход в горницу, ударился о дверной косяк, выматюгался. Спали Гришанчик с Маничкой в горнице, на самой парадной постели, на которой, если по строгости рассуждать, стоило возлежать-ночевать лишь дорогим гостям, заневестившимся девкам, молодым в первое время после свадьбы. А мужу дочери при живой старшей хозяйке дома и лавки достаточно или пуховика-перины в кухне. Но не был бы Гришанчик Гришанчиком, если б не переиначил все и не переустроил под себя все деревенские правила. В горнице – его постель, а вот место «парадной» кровати заняла вторая, переставленная Гришанчиком из горницы в кухонный угол. На ней-то и можно-нужно было бы спать Соньке как самой старшей в дому. Однако та предпочитала кровати печь – костям старым теплее. Вот и стояла пустая кровать – «на всякий случай», украшенная кружевами. И сегодня наконец пригодилась, хоть, оборони Господь, не для того она береглась. Гришанчик добрался до законной супружеской постели и завалился на нее – в сапогах. Маничка подняла было голову, оперлась на пухлый локоток, хотела было зашипеть, как щечку ее ожгла пощечина: «Заткнись, надоела уже». Жена схватилась за щеку, мгновенно начавшую припухать – Гришанчик и не думал рассчитывать силу, чтобы поберечь бабью кожу, бил с оттяжкою, с наслаждением: заслужила, сука! Не успев даже всхлипнуть, получила вторую. В правом ее глазу вспыхнули искры-фейерверки – теперь Гришанчик ударил постылую бабу в морду.

«Отвернись, корова», – не стеснялся Гришанчик своего голоса, в полную его вел силу. Пришло, пришло его время! За день он переполнился стыдом, превратившимся в злость, набух ею. Злоба эта навсегда слилась в нем с пережитым унижением. Рассчитался с той, теперь и эта – узнает! Коровища жирная! Слово «коровища» Маничке вдруг показалась даже обиднее, чем то, что ее били, хотя до сегодняшнего дня муж ее ни разу пальцем не трогал. Хотела было взвиться, но помешал и неповоротливый живот, и очередная затрещина, особенно оскорбительная оттого, что получена в темноте, не при дневном свете. Маничка и сама не могла понять почему, но уж лучше бы бил, когда все видят, а не так – тайно, позорно. Гришанчик пхнул ее в плечо: «Я же сказал, отвернись».

И в этот момент Маничка вспомнила кровь на его сапогах, кровь, капавшую с постели, Сонькину ладонь, замершую на мгновение над Матрениным животом, – и наконец испугалась по-настоящему. Она покорно повернулась к мужу спиной, попыталась сгорбиться, ужаться, но живот мешал. Она охватила левой рукой чрево, будто это горшок с цветком – *не дай бог, уронит, разобьет, кто виноват будет, как не она?* – обхватила бы и снизу его, и сверху, и сбоку прикрыла, но рука была только одна, второй Маничка инстинктивно вцепилась в край матрасца, набитого соломой. Зачем она вцепилась в этот край, не знала, ведь вроде бы ничего страшного не происходило: ну ударил муж разок-другой, ну обиделся, ну с кем не бывает, она тоже много обидного сегодня кричала, но это ж все змеища Матрена виновата. Не было б Матрены, и ссоры бы не случилось. Сказал отвернуться – ну что тут такого? В обиде мужик. Сейчас заснет, а завтра другой день, все иначе. Надо потерпеть.

Может, действительно и заснул бы Гришанчик, еще раз-другой ткнув жену по хребтине – хватит пока с нее! – заснул бы вольготно, пуская слюнку на подушку, пока жена обнимает живот, боясь его даже погладить. Но Маничка сдуру всхлипнула. И этот всхлип напомнил Гришанчику, какой слабой казалась Матрена, когда он месил ее тело: всхлип-удар-всхлип-удар-стон-стон-удар. Вспомнил, как у него тогда встал: так сладки были эти всхлипы, волосы, рассыпавшиеся по ее лицу и закрывшие его; и без лица Матрена показалась Гришанчику гораздо доступнее. Зачем бабам вообще это лицо? то ли дело зад! – и новый удар пришелся Матрене по крупу, следующий – по копчику, потом снова по мягким и в то же время упругим ягодицам, и удар этот породил очередной протяжный бабий стон-крик, так похожий на стон удовольствия. Гришанчик вспомнил об этом и, как тогда, возбудился. Ударил Маничку по заду: не шлепнул, а ударил – наотмашь, так, чтобы кожа вспухла и налилась позже синяком. Маничка дернулась

и издала странный короткий звук – а-а-ах! – обломившийся на конце, как конец лучинки. «Да ей же тоже невтерпеж!» – понял Гришанчик, приспустил штаны и зашарил рукой под Маничкиной рубахой, ущипнул место, по которому ударил, сжал кожу бедра, будто мял папироску: ух-х-х, сладко-о-о. «Ты что, ты что, – зачастила Манечка, зачастила куда-то в стенку, будто стена ее послушает, оборонит от мужа, в един день ставшего ей незнакомым, – дите ведь, ты что, не надо!» «Да все тебе надо, молчи, дура, я же вижу», – Гришанчик вошел в нее. Маничка захныкала. Муж одной рукой намотал косу на кулак, натянул ее так, что жена взвыла, и это возбудило его еще больше. Свободной рукой нашарил ее грудь и ущипнул – как будто Маничка была вещь. Маничка ничего не понимала, было только страшно и больно, ребенок в животе завозился и тоже начал бить ногой в низ чрева и сбоку – будто в такт отцовского хуя. *Что же это такое, Господи, за что, Господи, надо потерпеть, муж же, в праве своем, Господи, Господи, прости меня, грешную, это мой грех, все мой грех.* Слезы у нее закончились. Маничка перестала пытаться думать, просто лежала, слушая, как ее выбивают с двух сторон, как барабан: сзади – громко сопящий Гришанчик, спереди – крошечная пяточка. А потом все кончилось.

Сонька сидела у Матрениной постели. Все равно не могла заснуть. То, что происходило за стенкой, слышала, но вслушиваться не хотела: это их дело, супружеское. Любишь кататься, люби и саночки возить. Сама выбирала, где тогда твои глаза были? Правду сказать, Соньке почему-то (впрочем, она не думала над этим «почему») и не хотелось вмешиваться, будто что-то окончательно в ней сломалось, когда она увидела окровавленную Матрену на полу. А ведь и не считала при этом Матрену своей любимой дочерью, ведь злая, недобрая была дочь Матрена, позор семейный, но больше ни до чего Соньке не осталось дела, кроме как сидеть рядом с беспамятной-оскорбленной, изредка наклоняться, прислушиваться, жива ли, сжимать ее руку с горбушечками мозолей на ладони, руку, загоревшую настолько, что до сих пор казалась пережаренной картофельной долькой.

В следующее воскресенье Гришанчик спал долго. Так долго, что пару раз даже чувствовал на плече робкую Маничкину руку. Смахнул ее, как надоедливую муху, отвернулся, продолжил храпеть – опосля долгих трудов, больших дел. А Маничка подождет: таково испоконь женское дело – под мужем ходить покорно, с уважением. Когда все же очнулся, перевернулось вдруг что-то внутри, но не в сердце, а в животе: посасывало под ложечкой, потягивало в кишочечках. Учуял воскресный запах Гришанчик: шаньги. Шаньги да пироги. Пахло теплым, густым, сдобным, творожным крупитчатым, парным картофельным, запекшимся сметанным, сладковатым морковным, солоноватым слезным, пахло чем-то дивным, пухлым, как бабий локоток, всем, что располагало присесть к столу, жевать печево, одно за другим, запивать молоком, откусывать по полпирога разом, отдыхиваться, ухать, как филин: *«Ну накормила, мать!»* и есть еще, а после зажать хозяйку в сенях, шлепнуть по крепкому заду-репке, похожему на только что провалившуюся в желудок пышную свежую шаньгу, оказать этим шлепком свое мужское внимание и одобрение. Пахло, несмотря на то, что урожай в этом году случился плохой, и ели люди по большей части воду, да картошку, да хлеба немножко, и хлеб этот, с несъедобным травяным припеком, поперек горла вставал: собаки его не жрали, а людям все сгодится.

Сегодня же утром бродили по дому такие запахи, каким и должно бродить по доброму воскресному дому.

Маничка постаралась. Встала затемно, кое-как, придерживая раздувшееся чрево, перебралась через храпевшего мужа – рот рыбий разинутый, храп носовой, медвежий, – затолкошила ежедневную женскую работу. Поставила тесто чуть жиже обычного, не такое белое, как раньше, но уж как есть, такие уж нынче времена – жидкие, недоедные. Зачала готовить начинку, как и всегда, как в воскресенье до этого, как год назад, как будто бы и ни случа-

лось ничего вовсе. Охнула Сонька, зарастирала больную спину-бока: снова задремала за полночь у Матрениной постели. Матрена лежала – колода неподъемная, почерневшая, опухшая, сипела разве что тоненько, совсем не как Гришанчик; сипела *будто сестре в укор!* – почему-то подумалось Маничке. Сонька побрела на двор, Маничка же, пока тесто надувалось в кадушке под чистым полотенцем, придирчиво перебрала морковь, выбрала какую помельче – в пироги кривенькая самое то сгодится. Отмыла бугристые морковинки, поставила вариться, покормила птицу, потопталась тут, потопталась там, достала из чугунка сварившийся овощ и стала чистить. Пар поднимался к потолку, пар горячий и несытный. Маничке всегда казалось, что от вареных овощей пахнет чем-то обманным, полупустым: вроде и пища, а тянет от нее сыростью болотной, и наедаешься овощем хужее, чем хлебом. Подушечки ее пальцев сморщились, пожелтели, потом порыжели. Стучали на стене часы, возились во сне дети, высипывала – с присвистом – Матрена, храпел Гришанчик. Подошла кошка, возвела на хозяйку льстивые глаза. Не распознав бабьего настроения, прилипла к ее ноге, обвила хвостом, замыргала. «Мяу! Уважь, угладь, угости!» «Кыш, дармоедка», – отпнула Маничка кошку, уронила морковину. Кое-как нагнулась, долго шарила рукой по полу, не до конца видя, что там, натыкаясь рукой то на сучок в половой доске, то на кошкин хвост, то на сор. Наконец нащупала, ухватила, поднялась. Слезы вдруг беспричинно закипели у нее в глазах, глаза окраснели – будто кривая, косая, нелепая морковка забулькала, закипев, в чугунке. В животе завозился ребенок, Маничка охнула. Стоять было больно, но Маничка почему-то боялась сесть. Стала тереть морковь. Оранжевым снегом, бледной кровью овощ сочился в миску. Маничка плакала. Слезы мешались с морковкой. Спроси ее кто: [4]*чего ревешь, Марья?* – она и не знала бы, что ответить. Выбивала пальцем с ресниц слезинки – сбрызгивала их на пол, как гусениц, прилипших к ее бледно-капустной кожице с хрящами выпирающих венок (кожа у неудачливой бабы на солнце только обгорала, а потом снова быстро белела, разве что руки всегда были красными от воды, стирки, варева). Сбивала, выдыхала с облегчением, но – тут же набегала новая слеза, нежданная, нежеланная. Кап – в миску, кап – на терочку, кап – с горы на горочку.

Плакать было нельзя: впереди Маничку ждал долгий день, за ним еще один, и опять день. Этих дней впереди ожидалось настолько много, что она даже и не пыталась представить, как долго придется тянуться ее жизни. Нужно было просто жить. Как всегда. И баба просто резала бездумно тесто на кружочки, раскатывала, выкладывала на каждый раскатанный кусочек теста три-четыре ложки тертой моркови, смешанной с растопленным сливочным маслом. Масло стоило бы поберечь, но… ради воскресенья Маничка слазила в погреб. Для мужа все, в том числе и пироги в выходной светлый день: и творог для него берегла, и драгоценные остатки масла на него тратила, и для него одного защипывала сейчас клятые пирожки. Пирожки получались кругленькими и пухленькими, такими же, как она. Чем же ее лучше Матрена, ну чем? Ведь безрукая же: печево Матренино от кирпича не отличишь, тьфу!

Гришанчик уселся за стол, «под образа». Хозяин! Еще раз принюхался: эх, хорошо пахло! Подвинул блюдо с пирогами, выбрал какой попухлее – подушечки пальцев тут же припудрились золотистой мукой, – запихнул в рот сразу половину и застонал. Рожа его, до сих пор отмеченная следами женских ногтей, распухла вокруг рта – занесла Манька какую-то заразу, даже подгнаивалось, широко раззявливать пасть было болезненно. И тут баба поганая ему напортила. Пожрать нормально нельзя. Гришанчик сам не понимал, которую из поганых баб имел в виду, но рядом, точнее по правую руку и чуть позади, обнаруживалась Маничка: глаза долу, в опущенных плечах – покорность. Гришанчик пристукнул кулаком по столу – не то чтоб в гневе, скорее для острастки. Жена испуганно вздрогнула – уловил не столько боковым взглядом, сколько охотничей чуйкой. *Понимает, значит, кто тут главный. Ладно, пусть живет.* Гришанчик брезгливо бросил надкусанный пирог прямо на стол, цепанул шанежку. Разворо-

[4] Мыргать – громко мурлыкать.

тил ее надвое, выпустил жирный парок, начал выедать творожную середку. «Молока налей!» Маничка мигом подхватилась, налила. Больше не ища его взгляд своим взглядом, не улыбаясь сладенько. И Гришанчик возликовал. А вечером снова учил мужниной любови и покорности. В этот раз Маничка даже не заплакала: стук-стук – постукивали ее коленки о прикроватную стену, тук-тук – стучали часы, вперед-назад – сопел Гришанчик, сытый, потный, пухлый, как свежий пирожок. Привыкла.

С тех пор Маничка стала шелковой. Удобным половичком, на который он по утрам спускал ноги, чтобы не застудить их на голом полу. Наконец-то жена не раздражала его своей липучей любовью.

Впрочем, любить его Маничка не перестала. Просто любовь эта стала иной – делать вид, что ее здесь нет, если к ней не обращаются. Трепетать, если обратятся. Он хозяин – он лучше знает. А вот Соньку и Матрену возненавидела – они, они в ее слезах виноваты, не муж же.

Родила Маничка через неделю после тех пирожков с морковью и слезами. Ребенка вытащили из нее скособоченного, какого-то помятого, видом как та же неудавшаяся морковинка. Мяукнул разок – и все. И хоронить-то, считай, некого. Гробик сколотили размером с ящик для огородной овощи, такой же занозистый, легкий, невнятный. Под мышкой унесешь. Под мышкой и унесли. А уже через месяц снова забеременела.

Все это время Матрена лежала. Шлепал мимо Гришанчик – пузико вперед, носик вверх, не снисходя до нее ни взглядом, ни ухмылкой. Кричала в родах сестра, таскала тазы с багряной водой Сонька, водой, подкрашенной уже не ее, Матрениной кровью, а Маничкиной. Сама же Маничка замолчала – насовсем: больше не мурлыкала песенок про милёнка-соколика, не переливалась улыбочкой, похожей на стеклянную крупную бусину, не хихикала, когда муж походя шлепал ее по ягодицам. Заходили соседки, стараясь не глядеть то на Матрену, то на Маничку, то на Гришанчика: иногда и на всех них было глядеть совестно, да как совладать с интересом? Приходили и такие, что исподтишка шарили взглядом по всем углам, чуть ли не пыль ресничками выметали из-под кровати. Дети на полу перекладывали с места на место деревянные чурбачки – играли, визжали, отбирая друг у друга то кубик, покрашенный остатками красной краски, то соломенную куколку в рваной юбке в синий горох, пошитой из старой Сонькиной косынки. Матрена продолжала лежать: катился к ней солнечный свет – то узкой, стыдливо вспыхивавшей и так же стыдливо бледневшей ленточкой, то медленной, широкобедрой полосой, в которой таяли и дети, сидевшие на полу, и материны руки, месившие тесто, и сестрины руки, плетущие круглый половичок из тряпичных обрывков – бордово-черных, коричневых, белых в синий горох. Матрена закрывала глаза – и свет так и не докатывался до нее.

Поначалу, неделю-другую, бздел Гришанчик: а если придет тот мужик, чьего ребенка скинула Матрена? Превратит царапины на Гришанчиковом личике в кровавые ямы? Но никто не пришел. Неизвестно, ждала ли того Матрена – чтобы вынесли прочь из опостылевшего родительского дома на сильных руках, защитили, разобрались с обидчиком. Может, и ждала, да только никто не пришел.

Пока она болела, выпал снег, началась зима. Когда наконец смогла сесть, начался и новый, 1932 год. На юге Мексики в развалинах Монте-Альбана обнаружили клад XIII века, закопанный сапотеками, с хрустальными черепами и золотой маской бога Шипе-Тотека, нос и щеки которой были обтянуты человеческой кожей; на должность президента Швейцарии заступил Джузеппе Мотта; императорская армия Японии решила захватить Шанхай. Но это происходило где-то там, очень, очень далеко. И совсем не интересовало висимо-уткинцев, тем более что год начинался несытый. Не такой, слава богу, как в двадцать втором, может быть, пока что еще не такой. Терпимо еще жилось людям, не все еще мясо стесал с них недоед. Окна затягивало морозной пленкой, похожей на жидкую маслянистую пленку на вареве, вот только корка льда на окнах была гораздо толще бледных пятен сытости на похлебке. О пирогах, которые Маничка, щедро посолив слезами, пекла Гришанчику, понемногу (или же очень быстро) поза-

были. Продукты растягивали, как меха гармони, – надрывно. Кипяток пили чаще, чем ели: заваривали с морковными очистками, со свекольными, со всякой травой – хорошо, что Сонька много насушила иван-чая, зверобоя, другого.

Нужно было дожить до лета – но не впервые деревенским нужно было утянуть пояса и дожить до лета.

Сонькино лицо заострилось и почернело. Все чаще домашние замечали, как бегают ее глаза по внукам, будто пересчитывая их. Шевелились сухие губы, мелко подрагивали руки. Даже Гришанчик, привыкший теперь всех окрикивать и понукать, в такие моменты обходил Соньку стороной. Через какое-то время она приходила себя, и вот тогда уж Гришанчик всласть измывался над ней, называя и старой дурой, и безмозглой приживалкой. Говорил он это все причем как бы не ей, а в воздух, обращаясь к невидимому собеседнику. Подхихикивала ему льстиво Маничка, дети шмыгали носами и молчали. Понемногу и они привыкали замахиваться на Соньку, тянуть тонкими голосишками вечное русское «ду-у-ура». Та будто и не замечала ничего, молчала как в рот воды набрала, молчала, как и молчавшая в постели Матрена: та и раньше была неразговорчивой, разве что презрительно хмыкнет или так взглядом поведет, что каждый съеживался, теперь же, залежавшись, вообще перестала обращать внимание на происходившее вокруг.

Вслед за тем, что Сонька стала для всей своей семьи «дурой», начали Гришанчик с Маничкой понемногу и Матрену обделять едой. А что? Не работает, валяется, как колода бесполезная. Лишний рот. Только место занимает. Стала уменьшаться ее пайка – на ложку каши, на половину картофелины, на хлебную восьмушку. С одной стороны, вроде и невеликая убыль для человека какая-то ложка каши. С другой стороны, скольких спасла в голод эта одна ложка?

Матрена и того будто не замечала. Сначала, пока вовсе не могла поднять рук, ее кормила Сонька. Смешно вытягивала губы, дуя на горячее, подносила ложку ко рту, стараясь, чтобы ни капли мимо не пролилось. Матрена обхватывала губами эту ложку – деревянную, почерневшую от времени, знакомую с детства, навеки пропитавшуюся соком капусты, редьки, репы, картофельным паром, молоком, пшенной гущей, ложку, которую, казалось, можно съесть вместо и первого и второго. Горсточка водянистой каши, тюря из редьки с луком, залитых кипятком с каплей молока. Еда не переваривалась в желудке – еда будто растворялась в теле, раздувая зыбкий огонек жизни, заставляя вспомнить самоё себя. Есть Матрене совсем не хотелось. И в то же время хотелось постоянно. Еще нестарое тело хотело само сгибать и разгибать пальцы, хотело поворачивать шею, переставлять ноги, хотело снова зависеть только от себя, а не от продавленной, пованивающей потом кровати и старой, почерневшей ложки в почерневших же руках матери, руках одряблевших, как последняя картофелина в весеннем подполе.

Как только смогла есть сама, стала есть сама. Делала вид, что ей все равно, сколько еды окажется в тарелке, но глубоко втягивала ноздрями пищевые пары, точно кит – сотни тонн воды в попытке проглотить с ней и пищу. Запах питал отдельно: щекотал ноздри, наполнял легкие теплом. Горячая миска согревала руки, ложка деревянная добавляла еде сытости, в отличие от недавно появившихся в доме ложек металлических.

Прием пищи становился самым важным событием в ее жизни. Она медленно разжевывала каждый кусок вареной картошинки: с крупной крупинкой соли на следе зуба в овощной плоти, с сизым бугорком на боку, обнаружившимся после того, как с него соскребли пленочку кожицы, с промороженным хрящиком внутри – *мягко-хрусть, мягко-хрусть,* звучавшее как «сугроб-снежок под валенком», – пока на языке не оставалась только мягкая кашка. Жевала, пока горячее не становилось едва теплым. Процесс этот создавал иллюзию дополнительной порции еды: если жевать долго, то каждый кусочек покажется желудку двумя. Если не смотреть по сторонам, не отвлекаться на перестук ложек, шмыгающие детишьи носы, недовольное зятьево «Манька, кипятку еще плясни, чево возишься, как будто в сугроб провалилась», то

понемногу начинало казаться, что это не Матрена ест еду, а еда сама окормляет болящую, окружая сытным ангельским облаком. *В раю точно реки молочные, берега кисельные, а облачка тама – картошечка толченая, с веселым грибочком вместо солнушка. Истинно, истинно вам говорю!* Матрена сидела и жевала, незаметно для всех набиралась сил, набиралась, медленно жуя и глядя куда-то в никуда, точнее, на трещинку тарелки с ярко-рыжей надписью «Общественное питание – под огонь рабочей самокритики!», тарелки, недавно в дом притащенной Гришанчиком из поездки в Тагил: не смог пройти мимо выброшенного из тамошней столовой добра, пусть даже со сколом и с грязной червоточинкой.

…Тот день начался как обычно, настолько обычно, что даже и вспомнить про утро нечего. День начался и продолжался до обеда, а от обеда – до ужина. Ужинать не садились долго, ждали, пока домой придет Гришанчик. И он явился – поцапавшийся с кем-то на работе, злющий, голодный. Настропаленный общественными новостями про колхоз: *всё, всё, мол, говорят, отдай в общак, родное, кровное. Только жену, дуру, в общак не просят сбагрить, хотя туда ей и дорога…*

Маничка же, как на грех, припозднилась с ужином: старшенький ее слег, простыл, бегая до ветру. Валялся на печи, то красный, то белый, бредил, видя то ли железную огромную птицу, то ли железную рыбу с людьми во чреве, трясся в лихоманке, стонал. Дело зимнее, привычное. Сонька в очередной раз зачудила: наслушавшись хрипов и сипов внука, села на лавке, опустела глазами, сложила руки на коленях, замерла – как душу вынули. Матрена медленно, точно по стеклу шла, не по половицам, доковыляла до матери и села рядом с нею. *И ни слова! Кукла соломенная, рожа кривая. Села-то, будто кукла, а глаза – рысьи, когтистые, злые! Маничка все, все видит. Лучше бы, идолицы, воды принесли.* Но за водой пришлось идти Маничке. Потом то, затем сё. А уже и вечер. Хлеба, почитай, нет, а что есть – сквозит на просвет. Не ломти хлебные, а бумага! Картохи умудрилась сварить, дак не от души, а поштучно, прости нас, Господи, грешных (хотя и нет никакого Господа, ведь был бы он, была бы и еда каждый день). Щи сварганила – полупустые: капусты – облупила капустину, чуть ли не последнюю, гниль с нее счистила, дак в суп, почитай, только кочерыжка и осталась, луковка размером со слезку птичью; грибов маленько – хоть этим Сонька запасла дом к зиме, хоть тут от нее толк оказался. Видимость одна, конечно, эти грибы, да тоже пища. А вот остальное… Даже крупы не сыпанула – неоткудова взять. А ведь крупа в животе тяжесть добавляет, кишочки радует. С крупой сыт, а без нее и сам от голода пухнешь, как ячмень в кипятке. Вода в горшке забулькала, Маничка достала почти опустевшую бутыль конопляного масла, надрывно вздохнула и сама на минуточку присела, поставив рядом и бутылку (не выпуская ее из руки – мало ли, перевернут дети).

Так и застал Гришанчик всех трех женщин, когда пришел домой: расселись по углам, как куклы, и глаза пустые, будто нарисованные. Только сын ворочается на печи, сипит. И сучки древесные в печи щелкают. Пахнет варевом, но не едой – воняет сырятиной, капустной кислищей, бесхлебьем черным. Тоска взяла Гришанчика за сердце: того ли хотел от жизни?

Маничка очнулась, подхватилась. Едва бутыль не разбила, но не разбила. Шапку снять с мужа, полушубок, снег смахнуть. А на столе-то пусто! Гришанчик скрипнул зубами. Жена похолодела. И подхватилась снова – теперь уже к столу. Обмахнула полотенцем лавку, тем же полотенцем вытерла ложку. Сонька, всем в деревне известная любительница скрести дом и отмывать, даже на мгновение очнулась от своих непонятных видений, слегка поморщилась – не такому она дочь учила. Поморщилась, но привычно промолчала. Маничка метнулась туда, порскнула сюда, уставила на стол тарелки: таскать в круг по ложице из общей миски, конечно, было привычнее (*все так делают, и нам грех от дедовских установлений отходить*) и посуды опосля мыть меньше, однако Гришанчик по необъяснимой причине брезговал есть из общей: его аж передергивало, когда видел, как дети тянут в мокрые рты ложки, а потом те же ложки с ниточками слюны, с приставшей, облизанной, но так и не проглоченной крупинкой каши, с

луковым волоконцем булькают обратно в общую миску. И Сонькин рот – с впавшими губами, с глубокими морщинами вокруг них, с черной ямой внутри – вызывал в нем такое же отвращение, как и Маничкины губешки, влажные, блестящие, всегда будто оттопыренные для поцелуйчика. В общем, каждому полагалась теперь своя посудина – «по-городскому»: маленьким – деревянные миски, Соньке – такая же деревянная, но побольше, Матрене – та самая, с трещиной, а Маничке с Гришанчиком – хорошие, привезенные однажды мужем из Тагила: в серых розах, шипах и листьях, с клеймом «Фабрики Гарднеръ» на донышке, – удалось с выгодой прикупить на рынке у кого-то «из бывших». Хозяин! Добытчик!

Гришанчик сидел во главе стола. Как полагается. Позади окошко, сбоку другое. Вот только пустой тянулся перед ним стол: серая соль в розетке дешевого толстого стекла с пузырями внутри – как насмешка над Гришанчиковым тосковавшим желудком, разномастные тарелицы, обгрызанные деревянные ложки, погнутые железные, бабье – бесполезное, дети-галчата – безмозглые. Маничка налила ему первому горячей похлебки – по краешки: плыли в кипятке почти белые капустные листы и лук, мелко нарезанные, чтобы еды казалось больше, среди капустных обрезков – тараканьими пятнышками – черновато-серая грибная мелочь. Подала хлеб – с поклонцем! Вот только не кусок это для мужика, а одно название. Гришанчик зло брякнул взятой было ложкой о стол. Выдохнул, поднял ее, зачерпнул жиденькое, проглотил. Заходил челюстями и тут же – желваками.

– Масло опять забыла, безголовая!

Маничка схватила бутылку, покинуто тосковавшую на уголке стола, вытащила пробку, не обошла – обежала стол, булькнула от души в мужнину порцию. Гришанчик позеленел:

– Давай еще все масло мне шурани, чтобы жрать было невозможно! Дура, ей-богу! Чо стоишь, как колода!

Маничка обернулась, скользнув взглядом мимо Матрены:

– Мам, иди к столу, чо там сидишь, будто неживая!

Сонька, не приходя в разум, дошоркала до стола, присела на краешке, напротив детей, вперилась взглядом в стену. Гришанчик заугрюмился: что же за тещенька ему досталась! И дочка – вся в нее, такая же недотепа.

Вслед за Сонькой встала и Матрена. Так же молча и медленно, точно рыба, плывущая в глубине, опустилась на табуретку рядом с матерью. Села-то медленно, но неожиданно распрямилась, как раньше: точно здоровая, точно сейчас снова встанет, пройдет мимо Гришанчика, боком вильнет, заденет, сделает вид, что ничего и не случилось, плечом небрежно поведет: сам, мол, виноват, что здесь расселся.

Гришанчик скрипнул зубами. *Много воли, дрянь, взяла!* Ишь, раскорячилась, бревно бесполезное. Расставил ноги пошире, локти на столе установил потяжелее, как и полагается надеже, хозяину, отхватил, чавкнув, хлеба так, точно не тощенький ломтик ему был подан, а целый каравай. Прищурил глаз, тихо, спокойно произнес:

– Маня, рыбка, убери-ка одну тарелку. Сестра твоя и без ужина обойдется.

Жена растерялась. Гришанчик с удовольствием ужевал капустный хрящ (на самом деле мерзкий, безрадостно хрустевший на зубах).

– А какой от нее толк? Не заслужила. – И улыбнулся, зачерпнув очередную ложицу.

Сонька вздрогнула и перестала есть. Маничка вздрогнула – и улыбнулась, идеально повторив Гришанчиково сокращение лицевых мускулов. Взяла установленную было перед Матреной тарелку с жалкой в ней одной поварешечкой: почитай, одна вода, только луковые пленки плавают, опухшие, как опухает тело от голода, одинокий кусочек грибной в них застрял, как волоконце в зубах после ужина. Вылить обратно в чугунок, как муж приказал. Матрена перехватила ее за запястье – сестрина рука дрогнула, горячая жижа плеснулась на доски стола. Маничка ойкнула. Гришанчик, все так же не вставая с места, но будто увеличившись в размере, произнес увесисто:

– Руки убери, никчемная.

Однако Матрена продолжала сжимать Маничкино запястье. Гришанчик булькнул ложку в хлёбово, встал. Сонька мелко дрожала. Дети завозились тощими задками на скамье, Гришанчик дал подзатыльник тому, который ближе: «Угомонитесь». Обошел стол, Маничку и встал перед сидящей Матреной. Глянул сверху вниз: глаза Матрены показались ему черными-черными – сладкая смородина, горячая ночка. «Ночка-то горячая, да баба вся вышла!» – ухмыльнулся про себя Гришанчик. Кинул еще один взглядец, резко схватил Матрену за затылок – и шваркнул ее лицом об стол. Раздался звон – не удержала Маничка тарелку, да и кто удержал бы? Ударившись о край стола, тарелка распалась на несколько частей: «общественное питание» отлетело отдельно, от слова «огонь» откололся Ь, а «рабочая самокритика» раскрошилась на мелкие осколки. Жижа, пахнущая грибом, на мгновение задержалась на столе крошечным озерцом, но оно тут же хлынуло на пол. На столе осталось лишь несколько капель, тут же, впрочем, смешавшихся с кровью из Матрениного носа. Гришанчик, не выпуская волос из паучьей ладони, дернул за них, заставив подняться голову:

– Хочешь жрать – заработай. Не можешь заработать – жрать не будешь. Ну вот разве что со стола слижи, что осталось. – И выдохнул, сделав важное, серьезное дело: – Маничка, что стоишь, убери-ка с пола.

Пошел обратно, сел на место. Под образа. Давно уже, впрочем, упрятанные куда подальше. Не удостаивая более вниманием противоположный край стола – что ему эта тля? – поморщился: «Остыло!» И продолжил вкушать остывшее. Больше он Матрену не боялся. Больше он никого не боялся. Он тут главный. Он тут решает. В наступившей тишине был слышен стук его ложки о тарелку и шорканье веника. И ничего более. Маничка, отмерев, засуетилась, заподнимала осколки, кинулась за помойной тряпкой.

Еда, конечно, была на вес золота, даже эта тарелка пустой похлебки. Но сейчас Гришанчику было ничего не жалко: дороже золота сейчас ему было бабье унижение.

Матрена не произнесла ни слова. Шмыгнула раз, затем другой. Гришанчик, возликовав («Наконец-то слезу пустила, курица! Все вы одинаковые!»), бросил на нее довольный, замаслившийся, как щи с мясом («Эх, щец бы!», но щец не было), взгляд. Да только Матрена не плакала. Она даже вроде и не помнила, что сейчас произошло. Шмыгнула в очередной раз носом, пытаясь втянуть обратно кровь, капавшую на стол. Утерла тыльной стороной кисти ноздри, изучила кровавый след на коже, повозила ладонью по темной юбке, висевшей на ней, исхудавшей, точно на пугале. Сонька хотела дотронуться до нее, но, уже почти коснувшись плеча, будто обожглась, спрятала пальцы в кулак, спрятала кулак под столом и сама будто спряталась вся – улитка в скорлупе. Словно закончились все ее жизненные силы несколько месяцев назад, когда ударила зятя поленом, когда начала выхаживать Матрену, – и закрылась, замерла внутри себя самой – навеки.

Гришанчик хмыкнул. Не чувствовал он, конечно, того удовольствия, которое хотел бы почувствовать, но да ладно: раз молчит Матрена – значит, уважает. Гришанчик почти проворковал:

– Маня, что стоишь? Садись, поешь, голодная же, а от голодной бабы, сама знаешь, толку мало.

Маничка покорно плеснула себе хлёбова.

– Рядом садись: вместе сидеть теплее, а с женой есть сытнее, – подпустил Гришанчик елею в голос, шуточку в бородку.

Маничка осторожно устроилась рядом, как птичка на веточке.

Застучали снова как ни в чем не бывало детские ложки. К ним добавился и стук Маничкиной. Плыли на дне ее тарелки нарисованные розовые лепестки – как вечерняя нежность в далекой счастливой земле, закат сквозь зеленый сад.

Темнота за окном все черствела и каменела, черная, как хлеб: хлеб, которого нет.

Матрена встала. Встала и пошла прочь по плетеному длинному половичку, показавшемуся ей сейчас длиннее, чем обычно, к дверям, за двери. Пошла, слегка прихрамывая, до сих пор что-то болело в левом колене, потягивало икру, выворачивало пальцы на ноге. Лицо безразличное – кукла, как есть кукла, только кожа не гладенькая, а изборожденная рытвинами и ямами. Нос распух, раздулся.

– А-а-абиделась наша ба-а-арыня-то!.. Давай, давай, ковыляй отсюда, – обрадовался Гришанчик хоть какой-то Матрениной реакции.

Все же уязвил. Задел. Проняло ее, сучилищу. Потянулся за картофелиной. Шкурку слупливать с нее не стал – шкурка тоже еда. До чего ж довела сволочная жизнь! Посыпал крупной серой солью, засунул в рот целиком – водянистую, переваренную (слишком уж задумывалась дура Маничка, не готовя, а жопу на лавке просиживая; *ну да пусть ее сегодня, пусть лишний раз не вскидывается*). Давно ничего вкуснее этой картофелины не едал Гришанчик: с бабской-то сладкой обидой, с хрустнувшей на зубах слезливой солинкой! Аж застонал от наслаждения и зажмурился: картофельная мяша чвакала, продавливалась сквозь щели между зубами при каждом жевке, и каждый жевок был – будто Матренина размятая в месиво гордость, будто застрявший в ее горле комок обиды. Пока мычал тихо от удовольствия, пока покорно скребла Маничка ложкой по донышку, пока Сонька сплетала под столом пальцы в неразвязываемый узел, дверь, только что хлопнувшая за Матреной, хлопнула снова. Матрена вернулась. Держа в руке топор.

Чудесным образом хромота Матрены исчезла.

Гришанчик, не открывая глаз, довольно улыбнулся, проглотив нажеванное. Матрена с коротким хэканьем размахнулась. Удар топора пришелся ровно посередине Гришанчиковой тарелки: брызнуло в разные стороны фарфоровое иглистое крошево, древесное щепье, острием топора выдранное из доски, воткнулось Гришанчику в рожу, рядом с глазом, над бровями, в подбородок.

– Еще раз тронешь, гнида, сдохнешь!

Матрена, не выпуская топорища из правой руки, неожиданно сильно, совсем как раньше, схватила левой Гришанчика за затылок и со всего размаху ударила его лбом о стол, как несколько минут назад ударил ее он. И тут же приложила еще раз: прямо в стеклянное крошево. Взвыла Маничка, но вой ее был перекрыт Матрениным окриком:

– Заткнись, а то убью!

Гришанчик поднял голову: кровь текла по лицу, глаза оставались так же зажмурены, деревянные иглы торчали из кожи. Только то, что глаз открыть не успел, и спасло от потери зрения. Гришанчик наконец разлепил веки и затрясся от ужаса: Матрена выдернула топор из стола – снова во все стороны полетели занозы. Вдруг почувствовал ушедшие, как ему казалось, желание и боязнь. Как раньше. На штанах расплылось мокрое пятно – то ли от страха, то ли от вожделения, он и сам не смог бы понять.

Заорали, как всегда, дети – Маничка, трясясь не меньше Гришанчика, взметнулась к ним, закрыла взмокшими в один миг ладонями их рты. Сонька всхлипнула. Но Матрена не обращала на них ни малейшего внимания.

Матрена смотрела на Гришанчика сверху вниз – да, так же, как он сам недавно смотрел на нее, но ни паточной глумливости, ни довольного веселья не было в ее взгляде. Скучно смотрела Матрена на зятя, точно видела не его, а тлю и гниль, пригодную для одного: стереть и забыть.

– Увидишь меня – лучше обойди. Не сможешь обойти – лучше молчи, – наконец открыла она рот, и каждое ее слово показалось Гришанчику раскаленной кочергой, воткнутой ему в глотку.

Баба покачала топор в ладони, будто приладив его по себе, и вышла. Хлопнула дверь из комнаты в сени. Бахнула дверь из сеней на улицу. Как скрипнула калитка в воротах, никто не услышал, но все поняли, что она скрипнула.

Матрена шла по улице – в одной кофтейке, в чунях разваливающихся, крепко сжимая топор. Снежинки падали на лезвие: *тихий свете звездный, прилипавший к острию, потом так же тихо гаснувший*. Месяц в небе висел такой яркий – как юность, щеки мороз щипал – чтобы цвели, как шиповник, а потом и за локти начал драть: *быстрее, быстрее-то локтями, баба, работай, иначе сожрет жизнь*. Когда Матрена поняла, что наконец одна, что нет никого ни впереди нее, ни позади, захромала. Но, хромая, шла туда, куда шла, и улыбалась:

«Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!

Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна! Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не и маминыя помощи, разве Тебе, нашны я Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати! Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь».

Она не знала, из каких глубин памяти, да из глубин *ее* ли памяти возникали эти слова, так давно безлюбо выученные, так давно безрадостно забытые. Но сейчас губы ее, обметанные холодом, обкусанные обидой, беззвучно повторяли и повторяли: «Яко да сохраниши мя. Яко да сохраниши мя».

Если бы жизнь Матрены была романом, дорога увела бы ее далеко из Висимо-Уткинска, причем не в Тагил или даже в Свердловск, а, возможно, в Москву. Или в Сибирь. Или в Харбин. Или в Нью-Йорк. А даже и в Ниццу – чем, в конце концов, плоха Ницца? Прекрасное место для героини романа. Может, Матрена стала бы роковой любовью Бунина. Или близкой подругой Нины Берберовой. Кто знает? Человеческие судьбы столь причудливы, что иногда не устаешь удивляться их сплетениям, похожим на усы гороха, обвивающие деревянные палки-подпорки эпохи. Но какая из Матрены героиня романа?

…Так что ушла она недалеко – на улицу за соседней улицей, к подруге Калерии (она же Леруха), вдове старше Матрены лет на пять, любительнице выпить и подрать песенно глотку, мастерице печь блины, которые, впрочем, не для кого было печь. Удивительно, но, несмотря на то, что ночью стоял мороз той жестокости, которая случается в самой сердцевине зимы, Матрена не слегла – не маялась после ни кашлем, ни лихорадкой, разве что с тех пор, стоило ей немного продрогнуть, начинало потягивать низ живота, отдавать и вверх, в кишки, и в задний проход: тоскливо потягивать, уныло, хуже разве зубная боль на самом ее излете, когда непонятно даже, то ли есть она, то ли нет. Матрена постоянно потирала живот и под ним где-то внизу, справа – позорная боль, постыдное место! – глотала все, что попадалось под руку, что могло успокоить: ромашковую настойку, валерьяновую, мятную. Лучше всего, однако, помогали водка или самогон – растереть поясницу! И хряпнуть пару рюмашек! А лучше побольше.

Калерия, отпоив подружку горячим и крепким, растерев заледеневшие руки и ноги, разговорами ее мучить не стала. Хитрая была. Между двумя стаканами хреновины проикала: «Оставайся, подруга, места-то у меня больше, чем зубов». Доикала, погоготала и показала сильно прореженную улыбку – *спасибо покойному мужу, земля ему пухом!* – похожую на валящийся забор. После чего срочно выпила за светлую мужнину память и запела то ли про березу, то ли про калину.

Домой жить Матрена не вернулась – позор, конечно, для семьи, что девка без замужа от родных стен отбилась. Да ведь какая из нее выходила девка? Под сорок же уже, взгляд тяжел, как полное ведро, вытаскиваемое из колодца, лицо – темная осенняя дорога в замерзших комьях и рытвинах. Не осталось ей места в родительском доме. Место же в материнском сердце – невидимо, квадратных метров там не имеется. Так что уж как есть.

Через неделю пришла к своим за вещами. Вместе с Калерией. Та, обведя бойкими, всегда чуть похмельными глазками комнату, затараторила как ни в чем не бывало, не давая никому ни слова вставить:

– Ну здравствуйте, хозяева. Хорошо живете. Ох, Соня, какая у тебя на постели накидушка славная, ох, мастерица. А ты, Маня, все хорошеешь!

Впрочем, слово вставить никто не хотел: Маня, конечно, хорошела, но хорошела свежим синяком под глазом. Сонька расплакалась. Села на кровать, стащила кружево с подушки, разрыдалась прямо в него – безголосо и горько. Матрена не обратила внимания ни на мать, ни на сестру. Времени на сборы понадобилось с гулькин нос: полушубок, платок теплый, валенки, вторая юбка, косынка праздничная летняя, мелочовка вроде гребня да ленточки, вторая пара сережек – памятка от полюбовника. Отцовский топор, оставшийся у Калерии, она тоже возвращать не планировала. Гришанчика дома не оказалось, точнее, вышел как раз до ветру, да и прыгал на улице полчаса, позорно боясь встретиться с сумасшедшей бабой. Хотя ведь мечтал, мечтал хоть одним глазком глянуть (но признаться себе в этом тоже трусил).

После того жизнь у Матрены пошла веселая. Наезжал к Калерии периодически кум с Тагила – из органов. Так, мелкая сошка, должность комариная, зато походка важная. С ним, бывало, заявлялись и другие. Калерия глотку песнями обдирала, а подруга мужикам, уставшим от забот и работ, самогон подливала. Вышло с таких пьянок сразу два дела. Первое – Матрена устроилась продавщицей в местное сельпо. Жить сразу стало проще, жить стало еще веселее. При еде да при возможностях: где корочку урвать, где крупинку себе заныкать. Хотя сторожилась: не закрепившись, помнила, легко свалиться.

Первое дело – для живота, зато второе – для души. Однажды вечером пожаловал к Матрениным родным кум Калерии, да не один, а с другом. Кому, конечно, кум, а кому – ответственный работник, уважаемый человек, с которым шутки плохи. Брезгливо обводил строгими глазами углы, с подозрением осмотрел табуретку, которую ему с почтением поднесла тут же Маничка, – с таким подозрением осмотрел, что хозяйка табуретку ему обтерла тряпицей, да не один раз, а дважды. Сев, начал кум задавать вопросы разные: что, кто, куда да откуда, говорят, у вас тут женщину убивали и едва не покончили? Гришанчик заплыл тонкой алой краской, забекал, замекал. Заикаясь и запинаясь, рассказывал, что любимая свояченица упала с лестницы, когда зачем-то полезла на сарай. Зачем? Да кто знает – у баб же никогда ничего не поймешь, у баб, сами знаете, не разум, а темный лес. Гости, важничая, подтягивали подбородки повыше, кивали, записывали что-то на бумажку, периодически мусоля на языке один на двоих карандаш – по очереди. Маничка прижала край фартука ко рту и боялась выдохнуть. Наглумившись вдоволь, кум с дружком, многозначительно посоветовав сидеть тихо, *а то как бы чего не вышло*, утоптали обратно к Калерии, в сенях холодившей бутыль водки с банкой забродивших ягод – вино! – и жарившей для дорогих гостей картошечку. С тех пор зять обходил Матрену за версту, а то, сам понимаешь, *как бы чего не случилось*.

Запуганный Гришанчик Матрене нравился. На остальных ей было наплевать, остальным она зла не желала, как бы кто ни думал противоположное. Кому там зла-то желать? Матери бессловесной, сестре – птице безмозглой, племянникам гнилоглазым? Задатков графа Монте-Кристо, имя которого до конца жизни ей осталось неизвестным, Матрена в себе не ощущала. А потому изредка подкидывала матери тайком мучишки по мелочишке. Много не давала, чтобы там не привыкали и не зарывались. Но и не забывала: родная кровь все-таки – не водица. Да и матери второй не бывает. Благодаря этим крошкам Сонькино семейство перемоглось в очередное голодное время.

Стала вот только Матрена после болезни жадна до мужчин вдвое больше, чем раньше. На то, женат мужик или нет, внимания не обращала. Если ей кто вдруг нравился и сам проявлял внимание, это хорошо, это всем проще. Однако случались такие, кто ей понравился, а ответной симпатии не проявлял. В подобной ситуации Матрена не церемонилась: ставила вопрос ребром, как будто прошла курсы политпросвета: «Либо со мной гуляешь, либо жди, мил друг, на себя заявление в соответствующие органы. И с ними иди гуляй. Кто ж не знает, что бабу только антисоветчик не захочет!» Быть антисоветчиком никому почему-то не нравилось.

Один Бог знает, каким чудом Матрена оказалась ни разу не бита за свои приемы обольщения. То ли везло, то ли смущала деревенских мысль о куме Калерии, который продолжал наезжать к ней – правда, только до 1938-го, но то уже совсем другая история и к нашей совсем никакого отношения не имеет.

Прошли весна, лето, осень и снова наступила зима – так, как они проходят и наступают и в жизни, и в книгах, то есть совершенно одинаково: педантично и скучновато сменяя друг друга, как ответственные работники на сложной должности. Каждый раз окружающие надеются на что-то новое, но каждый раз все происходит согласно привычному, заведенному давно (и не ими) распорядку.

Всю осень обустраивали новую магазейку. В декабре тридцать третьего наконец открыли, Матрена из захудалого, просвистываемого ветром помещения перебралась работать в новое – большое, со складом и задней комнаткой, с хорошей печью. Стройкой занимался Павел Иванович Уткин, приехавший из Тагила вместе с женой и детьми. Новый заведующий оказался из местных – наследный дом его, большой и крепкий, с огромным набитым на ворота ажурным солнцем из деревянных реечек, выкрашенным почему-то в голубой цвет, знали все. Родители жены, Надежды, жили тоже в Висимо-Утке, через улицу от фамильного зятьева дома. Иван Уткин, отец Павла Иваныча, обрадовался сыну, да еще с семьей: богатый, трехкомнатный, что было страшной редкостью, домина казался каким-то пустым, был велик для старика и жены, той самой Дарьи-разлучницы.

Однажды Матрена, как обычно, сидела в сельпо: зеленый платок в красных цветах на плечах уже потерся, но шерстяные цветы до сих пор намекали на зной и лето, серая юбка в черный горох, пимы старенькие – зима лютела, каждый раз, когда открывалась дверь, поддувало по полу, и Матрена, не глядя на входящего, покрикивала: «На месте не стоим, тепло не выдуваем!» Тепло старались не выдувать. Вот и в тот день, насыпая тетке Вале, бабе порядочной и нелепой, кулек сахарку, пошлепывая за щекой краденым у государства леденцом, Матрена, услышав скрип двери, недовольно потребовала тепло не выдувать. «Здравствуйте, товарищи!» – раздалось в ответ. Матрена удивленно подняла глаза от весов – какие тут товарищи, тетка Валька, что ли? В сельпо ввалилась целая делегация: председатель колхоза, колхозный бухгалтер и городской на вид мужчина. Он-то и сказал про товарищей. Председатель обвел рукой помещенье: «Ну что, Павел Иваныч, принимай хозяйство». Хотя Павел Иваныч давно уж его принял. Но соблюсти бюрократию требовалось.

Тут бы написать, что встречавшая до этого много раз Павла Матрена не особо и обратила внимание на вошедших, но вот ведь в чем закавыка: уж больно нездешним показался ей Уткин, которого до того она видела по большей части со спины да в трудовых работах, матерящего рабочих когда и похлеще деревенских мужиков. Сегодня же все было не так: выражение лица у Павла Иваныча – мягкое, не как у местных мужиков, сам гладко выбрит, глаза серые – нежные, теплые, – чисто серая беличья шкурка, вместо деревенского тулупа – кожаное пальто с поясом. Снял шапку – вниз посыпались-замельчили сияющим дождиком растаявшие снежинки. Несколько капель зацепилось за скулу, Павел Иваныч улыбнулся и смахнул их. Матрена вздохнула: вот же бабе какой-то повезло. Впрочем, эту «какую-то бабу» Матрена прекрасно знала – Надя, жена Павла, в детстве крепко дружила с Агнией, одной из Матрениных сестер, тех самых, которые пироги умели печь и сидели сейчас при мужьях, а не так, как Матрена – в подслеповатом магазинчике с кривыми полами, с горстью пыльных жареных семечек в кармане вытянутой юбки. Никто-то ее не приобнимал за плечи с любовью искренней, никто-то шалью не укутывал, чтобы не запростыла. Матрена еще раз вздохнула, потом еще раз, будто не вздыхала, а икала и никак не могла остановиться. Спросила у тетки Вали: ну и когда же она собирается платить за то, что взвесили и выдали?! Тетка Валька отлепила наконец заинтересованный взгляд от мужчин, закряхтела и полезла в карман за купюрами.

Что такое нежность, Матрена не знала. Плотская любовь ей была, понятно, хорошо известна. И нравилась. Не столько тем, что случалось между ней и очередным мужчиной, а, скорее, чувством власти над ним, пусть и недолгой. Хоть и ряба, а хороша! А вот с нежностью, причем с той, которую не только взять, но и дать хочется, у Матрены было сложно. Да ни один из ее любовников с нежностью к ней и не относился.

Однако же после той встречи с Павлом Иванычем что-то с ней будто случилось особенное. Стала Матрена задерживаться по утрам, а то и вечерами перед зеркальцем настенным. Сама того не замечая, всматривалась в себя как в чужую – не так, как перед тем, как ее избил Гришанчик, – знакомясь с чем-то новым в себе, вытаскивая на свет божий женскую гордость собой, совсем нет: брезжила теперь в ее глазах, наоборот, какая-то неуверенность, что ли, что-то почти детское, мало́е, наивное. Что-то будто искала в своем отражении Матрена и не находила. Раньше вовсе незачем, казалось, в зеркало пялиться: уж какова есть, так и ладно, а кого не устраивает, тот пошел прочь, сам дурак! Все равно далеко не уйдет. Нынче же взглядом ощупывала каждую свою черту, и все-то ей в себе не нравилось. Фигура – кость широкая, спина сутулая. Руки – мужичьи, на лопаты больше похожи, чем на руки. Кожа – нехороша: сухая, в темном, невыводимом загаре, в ямах и рытвинах, чисто деревенская дорога в засуху. Брови – блеклые, неровные, не изогнутые, как кошачий хвостик, а тянущиеся, точно невнятная тень травинки, изнемогающей все от той же засухи, что и Матренина кожа. Жесткие складки справа и слева от рта – один в один складки на старых сапогах. Глаза, пожалуй, были хороши (впрочем, какая женщина считает, что глаза у нее некрасивые?), однако ресницы – редкие, блеклые, как и брови. И кофта эта старит лет на десять, грудь под ней обвисает, будто и не женская грудь, а дойки коровьи. Матрена вздыхала, отходила от зеркала, долго крутилась на одном месте, ощупывала то, что ей не приглянулось в себе несколько секунд назад, вновь оборачивалась к зеркалу – а вдруг ошиблась, а вдруг зря кажется ей, что некрасива, а на самом деле есть в ней та самая особая бабья сласть, от которой мужики теряют голову. Матрена улыбалась своему отражению, но угрюмая ее улыбка стремилась к земле, как и грудь, обтянутая старой коричневой кофтой в меленькую полосочку.

Непривычную задумчивость Матрены и ее метания быстро заметила Калерия и по-бабьи жестоко, как оно водится и в глухой деревне, и в большой жизни, тут же высмеяла. «Вот дурища! Чо зеркало мордой протирашь? Думаешь, от гляделок своих в пряник медовый печатный превратишься, чтобы тебя кажный надкусить хотел? Или коса в руку толщиной и личико белое сами собой, как чирей на глазу, вскочут? Вот жопа есть, и ладно – значит, баба годная», – погыгикивала она полупустым ртом и похабно шлепала Матрену по действительно весомому заду, большому не столько благодаря женскому салу и мясу, заставляющему бабьи изгибы круглиться и привлекать взгляды, сколько благодаря все той же «широкой кости»: в боках широко, в профиль плоско. Ну или Матрене так казалось. Играла желваками, обидевшись и отчаянно стыдясь того, что ноет проклятое сердечко, грязно ругалась, замахивалась на ржущую Калерию – «давай еще по стопарику за тваво-то намахнем?» – но толку? Калерия не переставала изгаляться, мерзко растягивать губешки, изображая то чмок, то завлекательную усмешечку, больше похожую на гримасу от того, что у нее прихватило живот. Но, несмотря на все Калериины ядовитые чмоки, Павел Иваныч никак не пропадал из Матрениных мыслей.

Ради него Матрена минут по десять теперь каждое утро расчесывала волосы – ниточка к ниточке, и даже ладонью пыталась напоследок пройтись, хотя только взлохмачивались уложенные волосы, цепляясь за мозоли – *ах, не лебедушка плавная, ох, не пряничек мягкий паточный*. Платок свой настирывала постоянно – в ледяной воде, чтобы свежестью пах. Серьги надевала лучшие. Пыталась даже улыбаться, не понимая, какой нелепой смотрится на ее мрачном, безразличном обычно лице эта улыбка, хоть и хороши были деревенские зубы, почти не знавшие ни сахара, ни мяса. Однако все ее ухищрения пропадали впустую – Павел Иваныч не обращал на нее внимания. Кивал, конечно, заходя в сельпо, называл уважительно Матреной Федосеев-

ной, иногда, подчиняясь неписаным правилам мужского поведения, коли сталкивался с ней в дверях, мог устроить и некоторую тесноту, мол, еще чуть-чуть – и прижмет к косяку, вопьется красивыми, крупными губами в податливые бабьи, но увы: в итоге управляющий протискивался мимо, не замечая, как сбивалось Матренино дыхание, как обмякало под кофтой вдруг взбудораженное воображением тело. Или не желая замечать. Видимо, противная жена Надька была так ему хороша, что забывал пялиться на других баб управляющий. Саму Надьку Матрена видела не раз и не два: улыбчивая и кареглазая, теплая и мягкая – свежий калач, пшеничная крупитчатая ватрушка только что из печи. Вроде и простовата, при этом на праздник не постесняется надеть и городское – неприлично короткое по деревенским меркам – платье. Вот же выдра! А если ватрушка, так протухшая!

Хотя, зная мужскую неверную натуру, с каждым днем все яснее Матрена понимала, что это она сама – не рябина тонкая, не пава расписная…

Но как хорош, как же хорош был начальник: денди! (хотя и слов-то таких деревенские отродясь не слыхивали). Пальто *кожано* со скрипом, обувь городская, под нужную ногу специально пошитая, рубашечка всегда наглажена: то розовая, то белая, а то и в мушку-крапинку. Пуговицы на пинжаках – фасонистые! Запонки – с камнями, да много, много разных их было у красавца-мужчины, чуть не каждый день менял их Павел Иванович. Галстуки – когда под цвет глаз наденет, когда рубашечку оттенить – с лоском! – а когда и для форсу – в полосочку меленькую. Выбрит, как каток зимний, не то что местные… Вздыхала Матрена.

Лети, мой соколик,
Лети ко мне во дворик.

Ждут тебя пышки,
Горсточка вишни,

Медовухи кружка,
Пышная подушка.

Да не летит соколик
Во мой сладкий дворик.

Долго бы еще продолжались терзания Матрены, в кои-то веки забывшей даже про привычную схему отношений «любовь или ГПУ», если б не помер в январе отец заведующего. Вышел из дома до ветру да попыхтеть ядреным своим табачищем, ну и пропал. Бабка Дарья, жена его, думала, что пошел к соседу, Фильке, да у Фильки и застрял, обсуждая прошлые времена, нынешнюю дурную молодежь и политику, ворчала полвечера, обещая глаза повыцарапать благоверному, когда вернется (обещание это никогда не выполнялось, поскольку за подобное могла Дарья получить в ухо). Так или иначе, никто не спохватился о старике до того момента, пока с работы не вернулся сын, не выбежал сам до ветру и не обнаружил в огороде, на снегу, труп: лежал Иван, свернувшись гусеничкой на листочке, лежал, уткнувшись лицом в желтое, заледеневшее уже пятно мочи и зажав в пальцах свое драгоценное мужицкое хозяйство. Вся эта композиция настолько смерзлась, что пришлось, когда заносили тело в дом, стыдливо накинуть на безобразно оголенное место тряпицу: чтобы никого не смущать, пока не подтает. А то и штаны надеть невозможно – позор-то какой. Сердце не выдержало с чего-то.

Матрена, воспользовавшись случаем, наконец-то пришла в уткинский дом на законных, так сказать, основаниях, не выдумывая никаких лишних причин. Уважительные имелись в этот раз причины: попрощаться с покойником, оказать уважение начальству. Пришла и просто так, и почувствовать, что ли, место, где жил Павел, присмотреться к тем, кто жил с ним рядом,

желание подспудное, практически не осознаваемое, но очень понятное: *тронуть того, кто любому дорог, все равно что самого любого за рукав взять*.

Дом Уткиных стоял широко, крепко, вцепившись в землю, как здоровое красивое дерево, – в резных наличниках, выкрашенных хорошей голубой краской, кичась недавно обновленной крышей. Позади дома к реке неторопливо скатывался с горки огромный огород, соток сорок, если не более, спрятавшийся сейчас под глубоким снегом. В доме, как всегда в таких случаях, пахло гнилью и кашей, кисловатым теплом человеческих тел, деревом старым и деревом свежеоструганным, сладковатым ладаном с тлеющих свечечек. Половики – аккуратно свернуты и убраны под кровать, чтобы не испоганили их приходящие к покойнику, холстом закинуто кержацкое (хоть и не кержаки вовсе были Уткины) зеркало – в темно-коричневой раме с потрескавшимися от времени шишками-навершиями, в россыпи бледных кружевных пятен ржавчины, начавшей пробиваться сквозь амальгаму, с маленькой зеркальной лункой над основным зеркалом – для того, чтобы ангел, стоящий всегда за человеком, тоже мог на себя поглядеть, собой полюбоваться.

На столе стоял гроб, в гробу лежал Иван Уткин – как яйцо в ларце: большой, угрюмый уральский мужик, последние годы начавший старчески ссыхаться, темнеть, как хмурая редька, слишком поздно вытащенная из земли и потому пригодная лишь для одного – уйти в землю обратно. Но Иван не так интересовал Матрену, как остальные: старуха Дарья, темнолико уморщенная – под стать мужу, разве что похожая не на редьку, а на сушеную черемуху, – медленно, протяжно выла, как и полагается скорбящей бедной вдове. Однако Матрена сразу учуяла, даже особо и не вглядываясь, ее жесткость и черствость, так похожие на Матренины. Жесткость эту вдове приходится нынче сдерживать перед новым хозяином и его женой: боялась Дарья, что затаил Павел обиду на старуху, ставшую много лет назад причиной смерти его родной матери, первой жены помершего. Матрена едва ужала улыбку, которая, как рыбья спинка в темной воде, не вовремя выступила на бугристом лице: Дарья оказалась понятна больше, чем Матрена надеялась. С такими легко: главное, показать, кто тут хозяйка, и постоянно держать в узде, не ослабляя.

Старший брат Павла Василий, двухметровый сорокалетний мужичина, почему-то стеснявшийся своего роста и вечно горбившийся, мял в руках ушанку, часто моргал голубыми красивыми глазами с по-девичьи длинными ресницами. «Будто баба», – брезгливо подумала Матрена и отвернулась. Тем более Василия можно было не учитывать: хоть и старший сын старого хозяина, а квелый, как подмороженная ботва по осени, да и жил далеко – в Висиме, отделился от отца, имел свое хозяйство, давно отказался от отцовского дома в пользу младшего брата. Женился он поздно, года за два до смерти отца, а то и меньше, на горбатой Симе. Ростиком метр пятьдесят, та, однако, была поварихой от бога: постоянно звали ее на разные мероприятия – и в Тагил, и в Свердловск, и в Невьянск. Даже в Москву ездила. Сам Калинин ей грамоту вручал. В общем, у них и так жизнь хорошая, им местные дела ни к чему, рассудила Матрена.

Кроме двух выживших сыновей, имелось у Уткина и две дочери: самая старшая в семье и самая младшая. Младшая Павлова сестра Олька (часто тут Ольками девок называли), еще совсем молодая и звонкая, остроглазая – точно была, по мнению Матрены, стерва. Несмотря на то что замуж она вышла уж больше трех лет, понесла лишь недавно, потому береглась отчаянно, даже и на отцовских похоронах не стояла, не вопила, как полагается, а сидела на особой табуреточке и укрывала руками живот, локти расставив во все стороны (не дай бог кто случайно заденет чрево, встормошит плод) – ишь тоже ценность нашла! Матрена фыркнула. Хорошо хоть, что вышла замуж Олька не в свою деревню, а в Захаровку, несколько десятков километров отсюдова. Не наездится нос свой в чужие дела совать, ежели чего.

Зато старшая сестра Павла, Антонина, жила в доме прямо напротив родительского. Хоть и старалась забегать к своим почти каждый день, обременяло ее немалое семейство: уже пятеро и шестой на подходе. Громкая вся эта компания – Вовка, Валька, Фридка (названный, понятно,

в честь Фридриха Энгельса), Кларка и младенчик Зоя – появилась в доме ненадолго: каждого в очередь подвели или поднесли ко гробу, после чего Антонина с некоторым облегчением сдала всю ораву на временное попечение одной из тех соседок, кто должен был, когда унесут покойника, оставаться мыть полы и накрывать поминальную.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.